

[Polaris]

Николай
ШЕЛОНСКИЙ



БРАТЪЯ СВЯТОГО КРЕСТА

Русский оккультный роман

Том V

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXXIX



Salamandra P.V.V.

**Николай
ШЕЛОНСКИЙ**

БРАТЯ СВЯТОГО КРЕСТА

Роман

Русский оккультный роман
Том V

Salamandra P.V.V.

Шелонский Н. Н.

Братья Святого Креста: Роман. Илл. А. Э. Гофмана (Русский оккультный роман. Том V). – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 238 с, илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXXIX).

Фантастический эликсир долголетия позволяет герою мистическо-приключенческого романа Н. Шелонского «Братья Святого Креста», написанного на исходе XIX в., познать тайны жрецов Древнего Египта, стать имамом секты ассасинов, главой рыцарского ордена крестоносцев и гроссмейстером сокрытого «братства любви».

БРАТЯ СВЯТОГО КРЕСТА

Роман

Н. Н. ШЕЛОНСКИЙ.

БРАТЯ СВ. КРЕСТА.

Р О М А Н Ъ

съ рисунками художника А. З. Гофмана.



МОСКВА

Типографія И. Д. Сытина и К^о, Валовая ул., соб. домъ.
1893.



Таинственные обита-
тели замка Эйсен-
бурга.

Глава I

Тюрингене, между Кобургом и Гильдбургаузенем, в полутора милях от последнего, лежит старинный замок, составляющий феодальное владение правящей герцогской фамилии.

Позднейшие пристройки испортили средневековую архитектуру замка; по дну его полузасыпанного рва разбиты цветники, а по валу тянутся аллеи прихотливо подстриженных буков и тополей. На месте когда-то вымощенного громадного внутреннего двора, служившего местом игр и поединков ландскнехтов и латников, разбит фруктовый сад. Деревенские домики со своими огородами подошлись с течением времени к самому замку, и теперь их отделяет от него только узенькая речка с перекинутым через нее за-

тейливым мостиком да ровная зеленая лужайка, на которой, позвякивая разнотонными колокольчиками и оглашая воздух блеяньем и мычаньем, мирно пасется деревенское стадо.

Уже более ста лет замок Эйсенбург не видел в своих стенах никого из герцогской фамилии. Принадлежащие к замку земли и угодья сдавались внаймы, и арендатор, со своей семьей и рабочими, занимал пристройки и флигеля. Но самый замок был неприкосновенен: каждый год он ремонтировался, чистился, старинная мебель выносилась наружу и выбивалась, окна замка растворялись, и громадные залы замка и коридоры тщательно проветривались.

Эта ежегодная уборка доставляла чрезвычайное удовольствие старому дворецкому, вместе со своей женой составлявшему все население замка. Во все остальное время года ему не было никакого дела, кроме ежедневного обхода всех помещений замка — чего, впрочем, от него никто не требовал.

Таким образом шли долгие годы, и пустынное безмолвие замка ничем не нарушалось. Мимо него пронеслись ужасы великой Французской революции, его не коснулись в своем победоносном шествии войска французского Аттилы — Наполеона 1-го, покорившего своей власти Германию, и жители Эйсенбурга думали уже, что старинное здание никогда не увидит обитателей в своих стенах.

Но вот в один из осенних вечеров 1809 года дворецкий Шмит неожиданно явился к эйсенбургскому священнику и сообщил ему сенсационную новость: замок был сдан внаймы, по желанию герцога, и дворецкому приказано быть готовым к принятию нового хозяина.

Неужели герцог польстился на арендную плату? Этого Шмит не мог допустить; согласен с ним был и священник. Следовательно, феодальное жилище владетельных герцогов было уступлено для пользования в виду иных соображений, и эта уступка была сделана несомненно для особы высокого происхождения.

Но кто же была эта особа?

В полученном дворецким извещении сказано было: «Приготовить замок для приема особы, которая предъявит на то разрешение».

Ни имени, ни звания этой особы не было упомянуто.

Это обстоятельство казалось многозначительным: невозможно допустить, чтоб подобное опущение было сделано без умысла. Между тем, что же заставило скрывать имя нового обитателя? Конечно, какая-нибудь чрезвычайно важная политическая причина: без сомнения, эта особа принадлежала к числу знатнейших французских эмигрантов, спасшихся, благодаря немецкому гостеприимству, от ужасов террора. Но для того, чтоб продолжать скрываться и теперь, когда эти ужасы уже миновали, нужны были еще другие причины: простому эмигранту, как бы знатен он ни был, нечего было опасаться — скрываться мог только тот, кто был опасен всесильному Наполеону.

Это последнее предположение, логичное до некоторой степени, было высказано священником и тотчас разнеслось по деревне.

Ожидаемый гость и будущий властелин замка, как было теперь решено, принадлежал к королевской фамилии.

Убедиться в этом будет нетрудно: среди жителей Эйсенбурга были многие, которым хорошо были известны резкие, характерные черты лица, общие всем Бурбонам. Им достаточно будет однажды взглянуть на вновь прибывшего, чтоб сразу определить справедливость догадок.

Прошло несколько дней после получения дворецким наделавшего столько шума приказа. Старый Шмит, соскучившийся в многолетнем бездействии, с восторгом помышлял о предстоящем приезде и связанном с ним возобновлении своей деятельности. Он вытащил из кладовых старые ливреи, вычистил их, починил и теперь с утра ходил, облаченный в парадный костюм с герцогскими гербами.

Помещения в замке были проветрены, приведены в порядок, чехлы с мебели были сняты, и все было готово к приему таинственного гостя.

Но он не являлся.

Нетерпение Шмита, священника и всех обитателей Эйсенбурга достигало крайних пределов.

Неужели дело расстроилось, и тревога оказалась ложною?

Наконец, однажды утром, только лишь Шмит вышел из замка, как вдали, по дороге из Гильдбургаузена, показался экипаж, направлявшийся к Эйсенбургу.

Сердце старого дворецкого тревожно забилося.

Экипаж обогнул селение и, свернув с шоссе, подъехал к подъезду замка.

Это была обыкновенная почтовая карета, на козлах которой, рядом с кучером, сидел хорошо известный всем окрестным жителям почтальон Фриц.

Не успел Фриц соскочить с козел, как дверцы кареты растворились и в них показалась фигура до такой степени оригинальная и странная, что Шмит невольно попятился.

Приехавший был человек громадного роста, поражавший своей невероятной худобой. Широкий плащ окутывал его широкими складками, из-под которых выставлялись длинные, тонкие ноги, затянутые в узкие черные чулки и обутые в башмаки с серебряными пряжками.

Длинные, страшно длинные руки кончались крючковатыми, загнутыми пальцами, торчавшими из рукавов плаща. Шляпа с широкими полями прикрывала отчасти лицо и позволяла сразу заметить только громадный, загнутый крючком нос, поразительно похожий на клюв хищной птицы, да острый, выдавшийся вперед подбородок.

Все лицо было гладко выбрито, и злая, насмешливая улыбка тонких, плотно сжатых губ придавала ему неприятное выражение.

Но не это так поразило старого Шмита — он невольно отшатнулся, когда увидел устремленный на него из-под полей шляпы пронизательный взгляд.

Шмит не мог рассмотреть глаз приезжего, но чувствовал, что устремленный на него взор проходит как бы через него, охватывает его и подчиняет своей власти. Это был взгляд очарователя, взгляд змеи, приводящий в оцепенение намеренную ею добычу.

— Святая Матерь! — прошептал Шмит, — что же это?.. Неужели этот поселится в замке?..

Между тем приезжий, от которого, конечно, не укрылось впечатление, произведенное его особой на старика, усмехнулся и произнес:

— Вы дворецкий замка?

Голос был резкий, крикливый.

— Я, ваша милость!—проговорил Шмит.

Приезжий достал из-под плаща и подал дворецкому конверт.

Шмит дрожащими руками разорвал его и вынул бумагу. Это был приказ допустить господина Корнелиуса фан-дер-Валька, подателя бумаги, к производству в замке всех работ, которые он, Корнелиус, найдет нужным произвести для приема «особы», избравшей герцогское владение своим временным или даже, может быть, постоянным местопребыванием.

Прочтя эту бумагу, Шмит вздохнул с облегчением: итак, стоящий перед ним господин Корнелиус фан-дер-Вальк не будет жильцом замка, и старому дворецкому не придется ему служить!

Но странно: только что эта мысль промелькнула в голове Шмита, как взгляд Корнелиуса, этот странный, загадочный взгляд, дал ему почувствовать, что его мысль стала известна загадочному человеку, стоявшему перед ним.

Шмит не мог объяснить, откуда у него явилось это сознание, но чувствовал отлично, что это так. Да если бы и было у него еще какое-либо сомнение в этом, то оно тотчас бы рассеялось, когда Корнелиус фан-дер-Вальк произнес спокойно:

— Господин Шмит, хотя я и не буду жить в замке, но я долго в нем пробуду, и вам все-таки придется мне прислуживать.

Шмит сначала покраснел, как воротник его ливреи, затем побледнел и, как добрый католик, начал бормотать молитву от злых духов.

— Проводите меня в замок! — приказал Корнелиус, — мои вещи отнесите в зеленую комнату! — прибавил он, обращаясь к Фрицу.

Новый ужас! Корнелиусу фан-дер-Вальку было не только известно, что думал старый дворецкий, но, по-видимому, ему был отлично известен и самый замок!

А между тем Шмит мог поклясться, что за всю его тридцатипятилетнюю службу при замке этот человек ни разу не был здесь. Но, может быть, он бывал здесь раньше? Тогда сколько же ему лет?

Шмит взглянул на загадочного человека, уже шагавшего, не спрашивая дороги, по коридорам замка — и поразился еще больше: три минуты тому назад, там, на крыльце, он дал бы ему лет 40-45, а теперь, при взгляде на его лицо, он не дал бы и тридцати: выдававшийся подбородок как-то подобрался, морщины в углах губ сгладились, глаза сверкнули юношеским блеском, встретив любопытный взгляд старика.

— Как вы думаете сколько мне лет, господин Шмит? — произнес фан-дер-Вальк, останавливаясь, снимая шляпу и откидывая назад пряди густых черных как смоль волос.

— Я... я не думал об этом, ваша милость!.. — пролепетал старик.

— Нет, вы думали!.. Сколько же?

Шмит осмелился поднять глаза.

— Лет... лет двадцать пять...

— В самом деле?.. Посмотрите хорошенько...

Новый ужас! Лицо Корнелиуса постепенно изменяло свое выражение, черты его менялись — и теперь перед Шмитом стоял дряхлый старик.

— Господи!.. — прошептал дворецкий, невольно поднимая руку, чтобы перекреститься.

— Сколько же?.. Глядите!..

Шмит против воли снова должен был взглянуть на лицо Корнелиуса: на этот раз перед ним стоял человек лет сорока — такой же, которого он видел на крыльце.

— Так не знаете? — проговорил фан-дер-Вальк. — Ну, то-то же — и никогда не узнаете!..

С этими словами он двинулся дальше. Шмиту сильно хотелось бросить приезжего и, не оглядываясь, бежать из замка. Он, вероятно, так бы и попытался сделать, если бы их не нагнал в это время почтальон Фриц, несший багаж приезжего.

Всегда веселое, улыбающееся лицо Фрица было на этот раз серьезно. Он вопросительно взглянул на Шмита, как бы спрашивая его: «Ну что, видел?»

Очевидно, и Фрицу пришлось увидеть что-нибудь не совсем обыкновенное.

Тем не менее, никто из них не произнес ни слова. Корнелиус фан-дер-Вальк прошел в зеленую комнату. Здесь Фриц, получив золотой рейхсталер, был отпущен вместе с Шмитом — господину Корнелиусу пока были не нужны услуги дворецкого.

Только когда Шмит вместе с почтальоном очутились вне замка, оба они почувствовали, что язык их развязался.

— Что скажете вы, господин Шмит? — обратился Фриц к дворецкому.

— Что, Фриц?

— Кто такой, по-вашему, приезжий?

— Это может сказать только священник!

— Но вы останетесь в замке?

— Ни за что, хотя бы получил даже приказ его светлости!

— И отлично!

— А вы, Фриц, посмотрите, не обратилась ли данная вам золотая монета во что-нибудь другое!..

Фриц разжал руку — золотая монета сверкала по-прежнему.

— И все-таки, — воскликнул почтальон, — я не воспользуюсь ей — нет! Господин Шмит, я попрошу вас передать ее священнику.

Шмит с некоторой боязливостью взял деньги.

— И до свидания! Нам надо спешить! — добавил Фриц, взбираясь на козлы.

Оставшись один, Шмит прежде всего прошел в свою комнату, из окна которой давно уже глядела на все происходившее госпожа Шмит.

— Ну, что? — бросилась она к мужу. — Да что с тобой, Шмит?

Действительно, растерянный вид дворецкого сразу бросился в глаза.

— Госпожа Шмит, — торжественно произнес он, — нашему житью в замке пришел конец!

И Шмит, ежеминутно озираясь, вполголоса сообщил госпоже Шмит обо всем случившемся.

— Можем ли мы остаться в замке? — закончил он свой рассказ.

Госпожа Шмит задумалась. Затем она взяла золотую монету, отданную Фрицем, и, достав склянку со святой водой, покропила ее.

Монета осталась все такую же, какой была, к немалому удивлению дворецкого, со вниманием глядевшего на все действия своей супруги и нетерпеливо ожидавшего ее решения, так как от этого решения зависело все: к сожалению, господин Шмит не имел своей воли. Подумав еще несколько секунд, госпожа Шмит произнесла тоном, не допускающим возражения:

— Шмит, мы остаемся в замке!

Дворецкий только вздохнул.

— Ты сейчас отправишься к священнику и под строжайшим секретом сообщишь ему обо всем случившемся.

— Но если я понадобится господину?

— Я сама выйду к нему!

Шмиту оставалось только повиноваться.

«Строжайшая тайна», сообщенная священнику, через час была известна всему Эйсенбургу. Мнения разделились: одни не доверяли рассказам дворецкого, другие находили, что с его стороны было крайне неблагоразумно оставаться в замке, несмотря даже на положительное приказание священника и решение госпожи Шмит. Но как те, так и другие с нетерпением ожидали дальнейших событий. Эти события не заставили себя ждать, но они были так необычно-

венны и таинственны, что взволновали не только жителей Эйсенбурга и соседних деревень, но слух о них распространился даже в соседних княжествах.

Глава II

Прошло пять дней со времени приезда Корнелиуса фан-дер-Валька в замок Эйсенбург. Понятно, что его личность возбуждала во всех громадный интерес. Но Корнелиус никому не показывался: он целые дни проводил в замке, расхаживая по всем комнатам и часто пугая слух господина и госпожи Шмит своими тяжелыми шагами, гулко отдававшимися под сводами нижнего этажа замка, где было помещение дворецкого.

Раз Шмиту удалось застать его в портретной галерее замка, где он стоял, рассматривая древние изображения предков герцогского дома.

Старик Шмит хорошо знал эти портреты, равно как и самую родословную герцогской фамилии. Он сам часто с чувством благоговейного удивления смотрел на закованные в латы фигуры со строгими, суровыми чертами лица, припоминал совершенные ими великие подвиги или любовался пышной красотой дам, блиставших при дворе Конрадов или сопровождавших своих мужей во времена крестовых походов.

Корнелиус фан-дер-Вальк не только смотрел на эти портреты, но и говорил с ними, как с давно знакомыми, близкими ему лицами. Старик Шмит сам слышал это. Первый раз, когда он вошел в портретную галерею, фан-дер-Вальк стоял перед портретом рыцаря Вальтера.

Корнелиус не заметил дворецкого, и до ушей Шмита ясно долетели слова, обращенные этим загадочным человеком к портрету:

— Бедный, благородный рыцарь, — говорил Корнелиус, — я помню тебя таким, каким ты изображен здесь! Я видел тебя, когда ты привел толпы крестоносцев к стенам Кон-

стантинополя, я видел тебя в битве при Никее, когда ты не хотел пережить гибели своих дружин, но тщетно искал смерти!.. В последний раз я встретил тебя при дворе «барона и защитника Гроба Господня»! Когда суждено мне встретить тебя еще раз?..

Шмит замер: не сошел ли с ума господин Корнелиус? Лично знать рыцаря Вальтера, прозванного Бессребренником! Но рыцарь Вальтер погиб после первого крестового похода!

В эту минуту Корнелиус фан-дер-Вальк расстегнул свой камзол и, достав висевший на золотой цепи крест, поднял его перед портретом. В глазах Шмита сверкнули драгоценные камни.

— Видишь ли ты этот крест, рыцарь? — говорил Корнелиус. — Вместе с тобой мы приняли его и вместе несли. Ты кончил уже свой путь, недолго осталось идти и мне!..

Корнелиус замолчал.

Шмит, потрясенный и взволнованный, выскользнул в коридор.

Он не знал, что ему подумать, но зато теперь он был уверен, что гость замка не служит нечистой силе! Иначе как бы мог он носить на себе св. крест?

Вечером Шмит сообщил об этом священнику. Тот долго думал, наконец, снял с полки какую-то толстую книгу, раскрыл ее и показал Шмиту изображение креста.

— Такой ли крест видели вы? — спросил он.

— Такой, как мне кажется! — отвечал Шмит.

Священник задумался снова. Он ходил большими шагами по комнате, в то время как дворецкий следил за ним внимательно, стараясь по его лицу угадать впечатление, произведенное этим необычайным сообщением.

— Оставьте его в покое, — произнес он, наконец: — как я думаю, он принадлежит к числу странных, загадочных людей, составлявших тайное общество. По мнению всех, это общество уничтожено, распалось, но есть основание думать, по крайней мере для меня, что оно и теперь существует скрытным образом. Во всяком случае, сообщайте мне обо всем, что вам удастся узнать.



*...достав висевший на золотой цепи крест, поднял его перед
портретом...*

«Сообщать обо всем, что удастся узнать, — думал Шмит, возвращаясь в замок. — Конечно, он будет это делать, но, во всяком случае, ему хотелось бы самому иметь объяснение того непонятного и даже ужасного, что происходит на его глазах... Конечно, человек, чтущий св. крест, не может быть колдуном... Но тогда кто же он, наконец?.. Какие события суждено еще видеть в стенах замка?..»

События эти не заставили себя ждать: прошел еще день, и тихое уединение замка было нарушено целыми толпами каменщиков, землекопов и плотников, немедленно приступившими к различным работам в замке. Шмит сначала полагал, что будут отделять второй и третий этажи, служившие для помещения господ, но оказалось, что Корнелиус преимущественно обратил внимание на левую, южную половину нижнего этажа, выходившую в принадлежащий к замку сад.

Корнелиус фан-дер-Вальк казался очень озабоченным: он ходил целыми часами по коридорам и кладовым нижнего этажа и, очевидно, что-то искал. Иногда, указывая в каком-либо месте на сплошную массивную стену, он спрашивал старого дворецкого, к немалому его изумлению, не помнит ли тот, чтобы в этом месте был проход или комната.

Шмит недоумевал. Наконец, на третьи уже сутки после начала работ, Корнелиус фан-дер-Вальк позвал каменщиков в одну из обширных, со сводами, кладовых и приказал разбирать каменные плиты, покрывавшие пол.

— Ваша милость!.. — осмелился заметить дворецкий и тотчас замолчал, сам испугавшись своей смелости.

— Что угодно господину дворецкому? — с преувеличенной вежливостью спросил Корнелиус.

— Я полагаю... я думаю...

— Что изволит думать господин дворецкий?

— Я желал бы знать...

— Что желал бы знать господин дворецкий?

Шмит проклинал себя. Он прекрасно сознавал, что Корнелиус отлично понимает, что именно он хотел спросить, но нарочно мучает его.

— Так что же угодно знать господину дворецкому? — не отставал от него Корнелиус.

— Конечно... если вашей чести угодно... Но к чему разбирать пол?

— Чтоб открыть доступ в нижние помещения замка.

— В нижние помещения замка?

— Да.

— Но, ваша честь, я знаю замок пятьдесят лет, мой отец...

— И никто из вас не слыхал о том, что под замком есть помещения?

— Никто.

— Однако, они есть.

— Ваша честь уверены в этом?

— Я был там.

Шмиту оставалось только замолчать. Смеялся ли над ним этот загадочный человек или говорил правду?

Скоро дворецкому пришлось допустить, что Корнелиусу фан-дер Вальку лучше известно устройство замка, чем ему самому или же кому бы то ни было: под плитами пола был открыт новый свод. Окопав его кругом, рабочие через несколько часов работы открыли лестницу вниз и вход в подземное помещение, запертое железной дверью.

Дворецкий, с напряженным любопытством следивший за ходом работ, с благоговейным ужасом глядел теперь на Корнелиуса фан-дер-Валька.

Если он знал о существовании этого подземелья, то, конечно, он и был уже в нем. Если же это так, то кого видел перед собой старый слуга герцогской фамилии? Дух то был или человек?..

Рабочие, производившие раскопку, хотели было ломать дверь, но фан-дер-Вальк остановил их. Он вынул из кармана громадный ключ и вложил его в заржавевшее отверстие дверного замка.

После некоторого усилия замок щелкнул, и дверь, скрипя на петлях, повернулась.

Фан-дер-Вальк первый спустился в подземелье, захватив с собою фонарь. Прошло минут пятнадцать, прежде чем он позвал к себе дворецкого и рабочих.

Внизу оказалось, на глубине около пяти футов, обширное помещение внутри фундамента замка. Массивные своды и колонны поддерживали потолок, служивший полом нижнего этажа.

Трудно было сказать, для какой цели служило это помещение. Его можно бы было принять за подвал, вход в который был заложен, так как в самом подвале миновалась надобность, если бы не странная, видимо, сохранившаяся от древних времен обстановка. По стенам подземелья тянулись длинные полки, уставленные ретортами, колбами и какими-то странными инструментами. Тут же виднелись чучела зверей и птиц, скелеты и человеческие черепа. На стенах развешаны были связки трав и корней. В глубине виднелся большой очаг с раздувальными мехами. Сводчатый потолок расписан был знаками зодиака. На колоннах виднелись символические изображения треугольника, круга, разделенного на части, тут и там начертаны были кабалистические знаки.

При мерцающем красноватом свете фонаря внезапно освещался то один предмет, то другой, между тем как таинственные знаки и странные предметы, казалось, двигались и дрожали вместе с трепетным светом огня.

Немое молчание царствовало в этой средневековой лаборатории. Шмит и сопровождавшие его рабочие со страхом вглядывались в окружающую их обстановку.

Корнелиус фан-дер-Вальк казался очень взволнованным: он быстрыми шагами ходил по лаборатории и, по видимому, совсем не нуждался в фонаре, так как в полумраке, царившем в глубине комнаты, брал с полок различные предметы, осматривал их и затем снова ставил на место или же, к великому ужасу присутствующих, вполголоса читал надписи и кабалистические знаки, испещрявшие столбы и стены.

Наконец, он велел немедленно приступать к работам: большой очаг должны были исправить по его указаниям; в левом углу обширного помещения он приказал сложить новый очаг — странного, непонятного вида и, выведя трубу от него на поверхность, выложить ее на сто футов вверх.

Каменщики долго совещались, прежде чем согласились приняться за такую странную и трудную работу, так как в те времена, т. е. в начале нашего столетия, постройка обыкновенной фабричной трубы казалась и ненужной и, кроме того, необыкновенно трудной.

Но Корнелиусу нельзя было не повиноваться. Кроме того, он сам обещал руководить работами.

Деятельность закипела. Корнелиус фан-дер-Вальк безотлучно находился при работах и поражал всех своими изумительными, разнообразными знаниями.

Через три месяца от начала работ все было кончено. Теперь за несколько миль виднелась высокая кирпичная труба, совершенно не вязавшаяся с архитектурой замка и придававшая ему какой-то странный вид.

Вокруг всего замка и примыкавшего к нему сада протянулась высокая ограда, совершенно скрывавшая от глаз любопытных все, что происходило за ее стенами.

На конюшне появилась пара великолепных лошадей, временно порученных уходу старого дворецкого. В каретном сарае стояла роскошная, дорогой заграничной работы карета.

За последний месяц в Эйсенбург стали приходить громоздкие тяжелые ящики, тотчас по приказанию Корнелиуса вносившиеся в лабораторию. Здесь он сам раскупоривал и разбирал их.

Наконец, в один вечер, безо всякого предупреждения, к подъезду замка подъехала почтовая карета, почтальон Фриц соскочил было с козел, чтобы открыть дверцы, но его опередил высокий, седой старик, сидевший на запятках.

Дверцы растворились и на землю спрыгнул, не касаясь подножки, так давно ожидаемый и уже заранее возбуждавший такое любопытство новый хозяин Эйсенбургского замка.

Ступив на землю, он тотчас обернулся к карете и помог выйти высокой, стройной даме, закутанной с головой в черную кружевную мантилью.

Корнелиус фан-дер-Вальк встретил их глубоким поклоном и впереди них взошел в подъезд замка. За прибывшими гостями последовал и дворецкий Шмит, с любопытством осматривая фигуры своих новых хозяев и изредка с некоторым недружелюбием взглядывая на молча шагавшего рядом с ним старого слугу, который не считал даже нужным хотя бы кивнуть головой представителю владетельного герцога...

Приезжий господин был высокого роста, строен, подвижен, походка его отличалась изяществом, а при первом взгляде на его красивое, молодое лицо дворецкий Шмит признал в нем истого аристократа. Небольшая подстриженная черная борода и слегка закрученные усы оттеняли красиво очерченные губы, из-за которых при улыбке, с которой ответил он на поклон фан-дер-Валька, сверкнули два ряда белых, блестящих зубов. Костюм прибывшего господина отличался некоторой странностью и напомнил старому дворецкому старинные портреты замковой галереи: там, на этих портретах, бароны и рыцари были изображены в бархатных, плотно обхватывавших стан, супервестах, коротких мантиях и шляпах, украшенных перьями — такой же почти костюм был надет и на незнакомце, шедшем теперь впереди дворецкого по коридору Эйсенбургского замка.

Рядом с ним шла молодая, судя по походке, дама, лица и фигуры которой нельзя было рассмотреть благодаря окутывавшей ее мантилье.

К удивлению Шмита, вновь прибывшие прежде всего прошли в портретную галерею и в течение целого получаса переходили от одного портрета к другому. И новый хозяин Эйсенбургского замка, подобно фан-дер-Вальку, долго простоял перед портретом благородного рыцаря Вальтера и, уходя от него, поднес руку к полям своей шляпы и кивнул головой, как бы прощаясь со своим старым знакомым.

— Не вынет ли и этот креста? — подумал старый Шмит. — Может быть, и он считает себя знакомым благородного

рыцаря и сейчас начнет с ним разговаривать?..

Но приезжий господин до сих пор не сказал ни одного слова и, только уже при выходе из портретной галереи, неожиданно остановился и обратился к дворецкому:

— Вы будете входить в замок не иначе, как всякий раз по особому зову. Теперь вы свободны, но не должны отлучаться из замка. Вообще, я хочу, чтобы вы имели как можно меньше сношений с жителями Эйсенбурга. Ваша жена будет прислуживать госпоже. Согласны вы на эти условия?..

— Как угодно будет вашей светлости! — пробормотал Шмит.

— Я не светлость, — спокойным тоном ответил тот. — И если кто-нибудь спросит вас об имени нового обитателя замка, вы можете сказать, что его зовут кавалером Лакруа. О лошадях будет заботиться Люсьен.

Указав при этих словах на лакея, кавалер Лакруа вышел вместе с фан-дер-Вальком и неизвестной госпожой, имени которой он не счел нужным упомянуть старому дворецкому.

Вечером, с теми же лошадьми, которые привезли кавалера Лакруа и его спутницу, Корнелиус фан-дер-Вальк уехал неизвестно куда, и новые обитатели замка остались одни.

Давно ожидаемый факт их водворения, наконец, совершился.

Глава III

Несмотря на ясно выраженное желание кавалера Лакруа, Шмит тотчас, как только представилась возможность, урвался в Эйсенбург, чтобы удовлетворить любопытство нетерпеливо ожидавших его деревенских жителей.

По обыкновению, он прежде всего направился к священнику. Весть о том, что пришел дворецкий из замка, мигом облетела деревню, и через несколько минут в маленьком зале и около дома священника уже толпились любопытные.

Сам достопочтенный пастор, несмотря на всю свою обычную сдержанность, казался взволнованным. Он беспокойно ерзал на своем широком кожаном кресле, поправлял свои очки, перекладывая с места на место табакерку и платок и каждую секунду переворачивал зачем-то листы толстой, обшитой в пергамент, лежавшей перед ним старинной книги — той самой книги, в которой он показывал Шмиту изображение креста, принадлежавшего Корнелиусу фандер-Вальку.

Старый дворецкий стоял перед ним и последовательно излагал, не опуская ни малейшей подробности, историю появления новых гостей в замке.

Его слушали, не прерывая, и только сам священник изредка приговаривал:

— Так, так... — как будто заранее зная, что именно должен еще сообщить ему рассказчик.

Набравшиеся в комнату любопытные в такт кивали головами при каждом поддакивании священника, переглядывались между собою, как бы желая прочесть на лицах друг друга впечатление, производимое рассказом.

— Итак, — закончил Шмит, — вы видите, достопочтенный отец, что с прибытием нового хозяина замка дело несколько не выяснилось, хотя, как уже я говорил, он, по-видимому, весьма знатный господин... я даже назвал его светлостью...

— Если б возможно было, — перебил священник, — каким-нибудь образом узнать его имя...

— Да я знаю его! — воскликнул дворецкий, опять приходя в ужас от своей непростительной рассеянности.

— Знаете! — вскричал в свою очередь священник, вскакивая с места и поднимая кверху руки, как бы призывая этим небо в свидетели того, что он сам не повинен в этом преступлении, — знаете и столько времени молчите!.. О, Шмит!..

Все присутствовавшие с негодованием и упреком обратили свои взоры на старика. По комнате прошел глухой ропот.

— Я полагал... я хотел... — пробормотал дворецкий, — изложить последовательно .

— Последовательно... Да говорите же, говорите теперь!..

— Его светлость зовут... т. е. его светлость не зовут... то есть, виноват — его светлость не его светлость, а просто кавалер Лакруа!..

При этом имени священник, видимо, едва сдерживавший раздражение, вызванное в нем путанной речью Шмита, в бессилии упал в свое кресло.

— О, — вскричал он, — я предчувствовал это!.. Моя книга говорит правду!..

С этими словами он снова положил руку на лежавший перед ним фолиант.

— Его преподобию известен кавалер Лакруа?.. — в изумлении вскричал дворецкий.

Все остальные при этих словах придвинулись к столу, пораженные только что происшедшей сценой и с нетерпением ожидая ее развязки.

Вместо ответа священник с лихорадочной поспешностью перевернул несколько листов своей книги и молча подвинул ее к Шмиту, указывая на гравированный портрет, занимавший всю страницу.

Любопытные плотной толпой вслед за дворецким придвинулись к столу.

— Он!.. — вскричал Шмит, в каком-то самому ему непонятном ужасе откидываясь назад, — он!..

На портрете был изображен кавалер Лакруа; строгие, красивые черты его лица врезались с первого взгляда в памяти дворецкого, и он узнал их сразу. На портрете кавалер Лакруа был изображен в том же черном бархатном супервесте, в котором видел его сегодня Шмит, голову его прикрывала та же шляпа с пером, и только крест той же оригинальной формы, как и у Корнелиуса фан-дер-Валька, висевший на груди на золотой цепи, да крестообразная рукоять меча, видневшаяся у пояса, составляли разницу портрета от оригинала.

Прошла минута мертвого молчания. Священник отирал платком крупные капли пота, покрывшие его лоб; все на-

ходившиеся в комнате обитатели Эйсенбурга с любопытством и некоторым страхом рассматривали портрет. Тем не менее, никто из них не догадывался, почему этот портрет произвел такое потрясающее действие на патера — даже сам дворецкий начал приходить в себя. Действительно, что удивительного в том, что портрет кавалера Лакруа, человека, по всей вероятности, знатного и знаменитого, был помещен в какой-то книге?..

Чем более думал об этом Шмит, тем проще и объяснимее казалась ему вся эта, так было поразившая его с первого раза история.

Но тут внезапно пришедшая догадка заставила старого дворецкого вздрогнуть от страха и радости: ему хорошо было известно, что знатные царствующие особы иногда скрывают, в силу политических соображений, свой высокий сан под чужим именем. Не скрывалась ли под именем кавалера Лакруа какая-либо владетельная особа?.. Тогда понятным явится присутствие ее портрета в книге и волнение патера, когда тот убедился в тождественности обитателя Эйсенбургского замка с лицом, изображенным на портрете?..

Понятным является и то, что эта особа отвергла титул «светлости»: старому дворецкому следовало бы назвать ее «высочеством», если... если не еще больше... Но при этой последней мысли последние волосы зашевелились на голове Шмита, и он дрожащим голосом произнес, не смея взглянуть на священника:

— Его преподобию известно имя особы, удостоившей наш замок своим посещением?..

— Оно известно мне, — с некоторым недоумением отвечал священник, — настолько же, насколько вам и всем, здесь присутствующим...

— Осмелюсь спросить — кто же это?..

— Да ведь вы сами называли его, Шмит, кавалером Лакруа!.. Или я ослышался?..

— Нет, — пробормотал дворецкий, — но я думал... я полагал...

— Что вы думали?

— Что под именем кавалера Лакруа скрывается другое лицо...

Священник задумался.

— Этого, — ответил он, наконец, — не могу сказать вам ни я, ни кто-либо другой, кроме, разве, господина Корнелиуса фан-дер-Валька. По крайней мере, здесь на портрете изображено лицо, известное единственно под именем кавалера Лакруа.

Дворецкий пришел в окончательное недоумение при этом объяснении.

Что же тогда так могло взволновать почтенного отца Венедикта?

— Вероятно, — решился он заметить, — кавалер Лакруа по своей знатности и заслугам настолько известен, что его портреты помещают в книгах — в от и все...

— Вот и все! — с нескрываемым раздражением перебил его отец Венедикт, хватая книгу и открывая ее заглавный лист. — Смотрите! — с этими словами он ткнул пальцем в дату, на которой значилось:

Anno MDCX

— Видите?

Дворецкий поспешно полез в карман, достал очки в серебряной оправе и, надев их, прочел вслух, с некоторой запинкой:

— *Anno millesimo sexcentesimo decimo.*

Прочтя по-латыни эти латинские цифры, он остановился и в полном недоумении посмотрел на патера.

— Переведите! — сказал тот.

— Это значит, — перевел дворецкий, — что книга изда-на в тысяча шестьсот десятом году...

— И что, — перебил его священник, — в ней помещен портрет того самого кавалера Лакруа, который гостит теперь в нашем Эйсенбургском замке!.. Поняли?..

Только теперь луч света промелькнул в сознании старого слуги герцогского дома: как не догадался он об этом раньше! Ведь помнил же он странную речь, произнесенную

Корнелиусом Фан-дер-Вальком перед портретом рыцаря Вальтера, и видел, как кавалер Лакруа приветствовал этот портрет поклоном!.. Ему должна была быть ясна таинственная связь, соединявшая этих двух лиц с предком герцогского дома. Они знали его, знали лично! Им известен был и самый Эйсенбургский замок с первых лет своего существования! Иначе каким же образом мог бы Корнелиус фан-дер-Вальк знать расположение комнат в замке и, мало того, сразу найти и открыть никому неизвестное, по всей вероятности, более двухсот лет тому назад заложенное и забытое подземелье?

Но тогда — кто же эти люди?..

Они жили много веков тому назад и — кто знает — может быть, они живут тысячелетия!..

Кто же они?.. Конечно, не простые люди!..

Холодный пот пробил при этой мысли старика Шмита. Он едва мог передохнуть от волнения.

То же волнение охватило всех присутствовавших в скромной зале священника. Рассказы про Корнелиуса фан-дер-Валька, служившие до сих пор темой для бескончаемых толков в Эйсенбурге, волновали воображение мирных деревенских обывателей. Личность Корнелиуса вырастала до легендарных рассказов, и возбужденная фантазия придавала каждому его поступку, каждому слову особый, таинственный, мистический смысл.

Но, с другой стороны, каждый из передававших эти фантастические рассказы в глубине души сознавал, что действительность далека от легенды и что все необъяснимое, происходившее на глазах обитателей Эйсенбурга, в один прекрасный день может объясниться самым естественным образом благодаря какой-нибудь простой случайности.

Таким образом, главную роль играло сильно затронутое любопытство, и как бы сильно ни возбуждалось под его влиянием пылкое воображение, всякий прекрасно создавал, что все легендарные предположения, которые он сам охотно поддерживал, не имеют за собой твердой почвы.

Теперь, внезапно, в течение одной минуты, дело оказалось поставленным совершенно иначе: перед глазами всех

был факт и факт необъяснимый. Приходилось допустить, что дело шло о сверхъестественном явлении, и что лица, облеченные народной фантазией в сумрак таинственности, на самом деле олицетворяют собой сверхъестественное, непостижимое и страшное для человеческого сознания...

И они, эти загадочные существа, были здесь, в полумиле от селения!

Дыхание спиралось и захватывало дух при одной этой мысли!

Глаза всех были прикованы к портрету этого выходца с того света, в то время как отец Венедикт дрожащим, прерывающимся голосом повествовал о предании, рассказанном в лежавшем перед ним фолианте.

— В далекие времена, — говорил он, — когда крестоносцы освободили Иерусалим, часть их направилась от св. града вглубь страны для покорения отдельных сарацинских княжеств. Вскоре крестоносцы разделились на несколько отдельных отрядов, и каждый из них избрал себе своего вождя. Один из этих отрядов пропал без вести. Долгое время полагали, что он истреблен сарацинами, но спустя тридцать лет один монах, по имени Бонифаций, попал в плен к только что основавшейся секте ассасинов, живших в горах Ливана. В лице их начальника — так называемого Старца горы — он узнал кавалера Лакруа — предводителя пропавшего без вести тридцать лет тому назад отряда крестоносцев...

Священник умолк.

Всеобщее волнение при этих словах сменилось внезапным спокойствием, под которым скрывался панический ужас, охвативший присутствовавших.

Каждому из них хотелось услышать, что еще поведаст предание, сообщаемое отцом Венедиктом, и вместе с тем каждый боялся слушать, ожидая, что сейчас придется узнать нечто такое, что может заставить похолодеть от ужаса.

Но наступившая тишина была так тягостна, что сам отец Венедикт поспешил ее прервать.

— Это было, — продолжал он, — в 1125 году. С тех пор, в течение многих лет, Старец горы наводил своими злодей-

ствами и своей таинственностью ужас не только на сарацин, но и на защитников св. Гроба Господня. Немногие из тех, кому в разные времена случалось выйти живыми из его рук, описывали его одинаковым образом, называя молодым человеком, хотя с того времени, как видел его отец Бонифаций, прошли не десятки, но целые сотни лет. Но что страннее всего — каждое из этих описаний, принадлежавших различным людям, было как нельзя более похоже одно на другое, и все они до малейшей подробности передавали портрет кавалера Лакруа — таким, каким вы видите его здесь, на страницах этой книги, каким видел его Шмит и каким, может быть, всем нам придется увидеть его воочию!..

При этом, более чем вероятном предположении, взоры всех невольно обратились ко входным дверям, как будто в них сейчас должен им появиться таинственный обитатель Эйсенбургского замка.

Но двери оставались по-прежнему закрытыми, и ничто не нарушало безмолвия, наступившего вслед за словами священника. Однако среди этого безмолвия каждый слышал биение своего сердца и холодел при мысли о страшном соседстве.

— Монах Ансельм, — продолжал отец Венедикт, — книга которого лежит передо мной, передает все сказания о Старце горы. Он утверждает, что впоследствии Старец горы основал общество рыцарей во имя св. Креста, что немногие члены этого братства обладают чудодейственной силой, благодаря которой организм их не стареет, и что они существовали и в его дни, т. е. в начале семнадцатого столетия. Он даже, как вы видели, воспроизвел портрет гроссмейстера этого ордена — кавалера Лакруа... Он утверждал, что братья этого ордена будут жить вечно, до второго пришествия, что в этом их казнь за ведомые им лишь одним прегрешения — казнь, подобная той, которая постигла некоего человека, отказавшегося возложить на плечи свои крест, предназначенный для распятия Богочеловека!.. Он также, по преданию, осужден жить на земле вечно, во искупление своего неверия!..

Священник умолк.

Его последние слова, в которых проглядывал скрытый мистический смысл, как нельзя более подходили к настроению присутствовавших. Жители Эйсенбурга, хотя и не отличались особым образованием, но все принадлежали к числу добрых католиков, и каждому из них хорошо были известны все апокрифы и непризнаваемые церковью сказания. Хорошо была им известна и легенда о Вечном жиде, во все время существования мира осужденном блуждать по земле, не зная покоя, вечно идти вперед, не имея цели, вечно тщетно искать смерти без всякой надежды ее найти! В воображении каждого из них с детских лет была жива его легендарная высокая, изможденная фигура, на которую самые страдания положили печать величавости! Он шел, нескончаемые века неся на себе крест нравственных страданий, возложенный на него за то, что некогда он отказался возложить на несколько мгновений на свои плечи крест, ставший орудием искупления!

И теперь, почти среди них, поселился другой человек, также осужденный за свои таинственные, мало понятные людям преступления нести тяжесть подавляющего ума наказания. И если его неведомые преступления внушали ужас, то величие его страданий невольно возбуждало не только сочувствие, но и близкое к благоговению удивление.

Его фигура не была похожа на фигуру Вечного жида, какой создавало ее воображение, но внутренний образ их обоих был одинаков. Туманная отвлеченная легенда воплощалась в факт перед пораженными недоумением простодушными деревенскими обывателями.

Но вот внезапно окно комнаты, выходявшее к замку, осветилось багровым светом. Точно гигантский сноп пламени вырвался откуда-то, прорезал ночную тьму, отразился от нависших туч и кровавым мерцающим заревом осветил и залу и группу встревоженных людей, толпившихся около стола.

Невольным движением все двинулись было к окну, но тотчас остановились, точно отброшенные какой-то невидимой силой. Там, в багровом блеске этого зарева, им чу-

дилась таинственная безмолвная фигура обитателя Эйсенбургского замка...

Ни одного восклицания, ни одного звука не раздалось в первые минуты, но взоры всех были прикованы к этому единственному окну, через которое виден был замок, — окну, горевшему багровым румянцем, вспыхивавшим и переливавшимся кровавыми отблесками.

Казалось, что вот-вот в этой кровавой раме покажется кто-то — неведомый и страшный, чье появление всех поразит ужасом и лишит сознания...

Но никто не являлся: лишь красноватый свет мерцал, переливался и озарял комнату. Зато мертвую тишину, царившую в комнате, вдруг прорезал гудящий, заунывный звук... Точно чей-то могучий, но подавленный, зарытый в глубине голос молил о помощи. Это был живой звук, стонущий, молящий о спасении, но вместе с тем потрясающий, от которого содрогались и самые стены ветхого домика, вмещавшего в себя чуть ли уже не пятое поколение приходских кюре — и трепетали даже самые листы лежавшей на столе таинственной книги...

— *Sancta sanctissima Virgo, ora pro nobis!** — смущенным голосом прошептал священник, поднимаясь с кресла и направляясь к выходу.

Дворецкий Шмит и другие один за другим, крестясь и повторяя про себя слова молитвы, потянулись за ним.

Когда все вышли в сад и обогнули дом, глазам их представилось поразительное, никогда не виданное зрелище: за оврагом, отделявшим деревню, чернела громада замка. Высоко над ним миллионами искр горел и рассыпался огненный сноп. Кровавые блики отражались на низко нависших тучах, освещая багровым заревом деревья парка и ближние дома деревни, между тем как самый замок оставался окутанным непроницаемой темнотой, и только два окна восточного фасада, как два громадных глаза, горели и переливались дрожащим синевато-белым светом.

* Пресвятая Богородица, моли за нас!

В тишине ночи рев разносился далеко по окрестности, то замирая, то усиливаясь... К этому реву примешивалось громкое пыхтенье, страшные, то редкие, то учащенные вздохи, от которых содрогалась земля. Как будто там, в подземельях замка, заперт чудовищный великан, на грудь которого навалилась вся древняя каменная громада и сама потрясается от его тяжелых вздохов... Вот он сделает еще одно страшное усилие — и земля поколеблется, стены рассыплются мелкими осколками, и он встанет во весь свой громадный, гигантский рост и полной грудью, освобожденной от давящей тяжести, вдохнет ароматный воздух теплой ночи...

Рев и гул прекратились, и теперь еще отчетливее и еще страшнее слышались тяжелые вздохи. Они учащались — великан задыхался...

Все население деревни высыпало на улицу и инстинктивно столпилось около садика священника. В группе перепуганных людей слышались тихие возгласы, и губы каждого шептали слова молитвы.

Но отец Венедикт уже пришел в себя: он с любопытством присматривался к снопу искр, вылетавшему из высокой трубы, и прислушивался к тяжелым, потрясающим вздохам.

— Святая Мадонна!.. Я не пойду в замок, но там осталась моя старуха!.. — раздался дрожащий голос дворецкого.

— Успокойтесь, Шмит, — обратился к нему священник: — насколько я понимаю, во всем этом нет ничего ужасного — все объясняется очень просто...

— Но кто же дышит так страшно там в глубине подземелья?.. — раздался дрожащий, недоверчивый голос одной из женщин. — Не Тюрингенского ли великана* погреб-ли они заживо?..

— О, суеверные! — воскликнул патер, — сколько труда потратил я, стараясь рассеять ваши предрассудки! И все вы верите в существование злых оборотней! Это дышит не че-

* По легенде, Тюрингенский великан — дух Тюрингенского леса.

ловек, а машина — они поставили паровую машину — такую же, какая стоит уже в Саксонских копиях!

Но слова священника мало успокоили толпу; хотя добродушные поселяне слышали, будто где-то в горах работает вновь изобретенная чудная машина, которая не нуждается в силе человека, но они не доверяли этим слухам. Во всяком случае, по их мнению, такую машину непременно должен приводить в действие нечистый дух — не сама же собой она работает?..

Взоры всех по-прежнему были прикованы к замку, и напряженный слух жадно ловил частые, могучие вздохи.

— Но, ваше преподобие, — осмелился заметить дворецкий, — если это действительно стонет и дышит та машина, то что это за свет горит в окнах?.. Не восковые же это свечи?..

— Это... — начал было священник — и не кончил.

Передний фасад замка мгновенно осветился, лучи ослепительного, синевато-белого света широкими снопами полились из слухового окна верхнего этажа и залили серебристым лунным сияньем парк и часть ограды, прорезывая широкую белую дорогу в окружающей тьме. А задняя половина замка и вся прилежавшая местность по-прежнему тонула в непроглядном мраке... Широкий расходящийся сноп света прорезывал длинную полосу, выделявшуюся на темном фоне. Холодные, точно ледяные, но ослепительно светлые лучи напоминали лунное сияние, но они не дрожали и не переливались, от них не падало полутеней и прихотливых переливов лунного света...

Прошла секунда — и весь синевато-бледный столб света повернулся и залил своим мертвым сиянием и ограду садика, и самый садик, и дом священника... Лица освещенных им людей приняли мертвенный оттенок; еще одна секунда — и они на самом деле пали бы от ужаса, но свет, мгновенно пробежав, исчез, и все погрузилось в прежний непроницаемый мрак, и только сноп искр, вылетававший из высокой трубы, по-прежнему отражался багровыми бликами на низко нависших тучах, и те же тяжелые вздохи заключенного в подземелье чудовища потрясали окрест-

ность. Но вот и они мало-помалу затихли, а вместе с ними исчезла и багровая заря.

Было ли все виденное обманом чувств или действительным фактом? Если бы не черневшая громада замка с темным силуэтом трубы, то, пожалуй, обитатели Эйсенбурга могли бы считать себя жертвой дьявольского наваждения. Но там, в замке, они знали, действительно поселились неведомые пришлецы и чудным образом дали знать о своем появлении.

— Все в воле Божьей, — дрожащим голосом проговорил отец Венедикт, — и да не смущается сердце ваше! А вы, Шмит, должны возвратиться в замок, ибо на то воля нашего августейшего господина. Кроме того, помните, что до сих пор мы были свидетелями только необъяснимого, а не сверхъестественного!..

Глава IV

Несмотря на успокоительное объяснение отца Венедикта и даже на категорическое приказание не тревожиться ничем происходящим в замке и ничем не мешать «физическим опытам» благородного кавалера Лакруа, — приказание, полученное дворецким Шмитом непосредственно от его светлости, население Эйсенбурга долгое время не могло примириться с совершившимся фактом, и часто мирные деревенские обыватели с ужасом прислушивались по ночам, лежа в своих постелях, к тяжелым стонам и вздохам чудовищной машины. С другой стороны, немалое смущение производило и странное, непонятное поведетние кавалера Лакруа и его неизвестной никому даже по имени сожительницы. Изредка, утром, можно было только видеть выезжавшую из замка карету с молчаливым лакеем на козлах вместо кучера, но никогда нельзя было разглядеть сидевших в ней. Объехав по шоссе кругом Эйсенбурга, карета сворачивала в проселок и скрывалась с другой стороны в замковой ограде. Некоторым любопытным, отли-

чавшимся особенной настойчивостью, удалось, впрочем, два или три раза издали увидеть «госпожу из замка», как вскоре привыкли ее называть; в тихие осенние ночи, когда серебристый свет месяца лился на землю и в его лучах все красивое местоположение Эйсенбурга принимало вид волшебного ландшафта, «госпожа из замка» поднималась на уцелевший с южной стороны замка бастион и там, сама вся залитая серебристыми лучами месяца, просиживала целые часы, устремив взор на прихотливые очертания замка и на развертывавшийся перед нею пейзаж. Тогда любопытные могли издали разобрать очертания грациозной женской фигуры, сидевшей в красивой мечтательной позе.

Кавалер Лакруа ревниво оберегал неприступность замка. Сам он никогда не выходил за его ограду, а дворецкий Шмит и его жена допускались в комнаты только тогда, когда в них не было «госпожи»; доступ же в лабораторию был открыт одному только старому лакею.

Почтальон из города являлся ежедневно в замок и оставлял у дворецкого множество газет, журналов и писем, из которых последние часто бывали с марками, совершенно до той поры неизвестными чиновникам почтовой конторы.

В первый же год пребывания кавалера Лакруа в замке между ним и отцом Венедиктом завязалась оживленная переписка. Поводом к этому послужил пожар, истребивший одну из соседних деревень. Немедленно после этого пожара отец Венедикт получил через дворецкого Шмита тысячу рейхсталеров и коротенькую записку без подписи, в которой его просили употребить эту сумму на помощь пострадавшим и сообщать о всех нуждах его прихода. С тех пор на Эйсенбург и все окрестные селения полился целый дождь благодеяний. Хотя эти благодеяния и не могли рассеять предубеждения против обитателя замка, тем не менее между ними и их соседями установился род взаимного соглашения, по которому жители Эйсенбурга как бы обязались оставить в покое замок и не заниматься делами его обитателей.



...Тогда любопытные могли издали разобрать очертания грациозной женской фигуры, сидевшей в красивой мечтательной позе...

Такое безмолвное соглашение продолжалось в течение целых пятидесяти лет: за этот период времени покой замка ничем не был нарушен, тем более что и паровая машина, работавшая в замке, перестала с течением времени казаться чудовищем. Дворецкий Шмит, его жена, старый лакей и многие из свидетелей прибытия кавалера Лакруа и его спутницы в замок умерли за этот срок. Умер и отец Венедикт, но его преемник по-прежнему получал из замка крупные суммы на помощь несчастным. В замке появились на смену старым два новых обитателя — француз-лакей с женой, которые и составляли до конца единственную прислугу замка.

Заместитель отца Венедикта видел, однако, что почерк, которым были написаны получаемые им за последнее время записочки, сильно изменился и одряхлел. Часто священник думал о том, что дни кавалера Лакруа сочтены. И как ему казались при этой мысли наивны детские верования его паствы в бессмертие таинственных обитателей замка! Добрые дела обитателей замка были ему известны и не должен ли был он, как добрый пастырь, употребить все усилия, чтобы спасти погибающую душу?

После долгих колебаний, он решился, наконец, написать длинное письмо кавалеру Лакруа, в котором умолял позволить ему придти в замок для духовного назидания. В ответ на это письмо он получил коротенькую записку, в которой стояли только две фразы: «Час мой еще не пришел. Я позову вас». Что хотел сказать этими словами этот странный человек, целую половину столетия проведенный в добровольном заключении? Можно было думать, что он сам чувствует приближение конца своих дней и перед этим концом хочет прибегнуть к утешению религии. Но если так, то зачем же он медлит? Неужели ему может быть известен и самый час его кончины?

Но ни на один из этих вопросов эйсенбургский священник не получал ответа. Только через месяц, утром восьмого сентября 1867 года, ему принесли следующую записку. В этой записке кавалер Лакруа просил его немедленно послать из ближайшего городка телеграмму, и сделать это не-

пременно лично. Телеграмма была адресована в Бомбей на имя Корнелиуса фан-дер-Валька. «Час настал, — говорилось в ней: — явись».

В той же записке кавалер Лакруа просил священника явиться в замок, повторяя, что час его настал.

Через три часа по получении записки, исполнив данное ему поручение, священник уже входил в подъезд замка. Встретивший его лакей довел его до богато убранной комнаты, часть которой была отделена портьерой. Зайдя за эту портьеру, он увидел полулежавшего на постели старика, голова которого прикрыта была круглой шапочкой, подобной тем, в которых изображаются иногда древние алхимики.

Священник, сам уже довольно поживший на своем веку, никогда не встречал лица, подобного тому, перед которым он теперь стоял. На этом лице не видно было печати смерти, оно не было изборождено страданиями и не носило следов старческой слабости. Но какие-то неведомые силы положили на него таинственную печать, начертали непонятные знаки, которых, хотя не мог прочесть человек, но мог их чувствовать.

Когда на священника устремился ясный взгляд загадочного человека, он невольно почувствовал, что там, в недоступной человеческому взору области, скрыто великое и неведомое, что открывается для обыкновенного человека только в момент смерти. Объятый невольным трепетом, он с глубоким поклоном остановился в двух шагах от изголовья постели.

— Прежде, чем принять от вас духовное назидание, — говорил кавалер Лакруа, указывая на кресло, — я бы хотел кончить свои земные дела. Исполнили ли вы мое поручение?

— Несомненно, — отвечал священник, не зная, как титуловать того, к кому он обращался.

— В таком случае, — голосом, в котором прозвучала радостная нотка, произнес кавалер, — я спокоен. До моего конца осталось еще десять часов, я увижу моего друга, который закроет мои глаза.

Священнику при этих словах невольно пришло на ум, что его хотят сделать жертвой мистификации: про какого друга говорить кавалер Лакруа? Если про Корнелиуса фандер-Валька, то он находится в Бомбее и, конечно, не только не успеет явиться сюда в течение десяти часов, но даже, вероятно, и не получит телеграмму.

— Напрасно вы удивляетесь, достопочтенный отец, — неожиданно произнес Лакруа, пристально всматриваясь в глаза священника, — вас никто не хочет мистифицировать, и не для этого просил я вас прийти сюда...

Холодный пот выступил на лбу патера. Что же это за человек, который может читать чужие мысли? Ему теперь приходилось убедиться, что в рассказах, ходивших про обитателей замка, была значительная доля справедливости.

— Я прошу вас, — продолжал Лакруа, — достать шкатулку, которая стоит там, — он указал на карниз, над которым висели старинные рыцарские доспехи и меч, крестообразная рукоять которого была осыпана драгоценными камнями.

Доставая шкатулку, патер взглянул на эти доспехи и тотчас вспомнил портрет Лакруа в книге отца Венедикта: там сбоку виднелась такая же рукоять меча...

Чувствуя, как его проникает невольный трепет, он подал шкатулку кавалеру Лакруа. Теперь он уже почти не сомневался более в том, что видит перед собой настоящего, легендарного Лакруа... Но тогда разве может он умереть?..

При этой мысли священник смиренно прошептал про себя:

— Всему положен предел Тобою, Господи! Да будет воля Твоя!

— Аминь! — вслух проговорил Лакруа, отстраняя рукою шкатулку. — Это для вас, отец: здесь вы найдете выражение моей последней воли; я уполномочиваю вас распорядиться по вашему усмотрению всем, что останется в замке после меня, за исключением того, что находится в лаборатории; дверь туда заперта и запечатана моею печатью. Все, там находящееся, составляет собственность Корнелиуса фандер-Валька и должно сохраниться после моей смерти в це-

лости для передачи ему по его приезде...

— Но, — прервал его священник, — господин Корнелиус фан-дер-Вальк, судя по вашим словам, должен явиться сюда до вашей...

Священник не мог произнести слова «смерть», но его произнес сам кавалер Лакруа.

— До моей смерти? — сказал он, — да, но, видите ли... он все-таки приедет после моей смерти и сравнительно долго спустя, через столько времени, сколько надо, чтобы добраться от Бомбея до Эйсенбурга... Не пытайтесь дать какое-нибудь объяснение моим словам: вы сами будете очевидцем того, что я имею основание говорить то, что говорю. Но возвратимся к делу. В этой же шкатулке вы найдете мои записки, писанные мною в течение последних лет моей жизни... Прочтите их и, когда найдете, что обнародование их не может смутить уже человеческий ум, тогда напечатайте... Теперь я устал, я попрошу вас прийти через семь часов... Еще не будет поздно!.. — добавил Лакруа со слабой улыбкой, предвидя возражение, которое хотел ему сделать патер.

Семичасовой срок, назначенный священнику, казался ему бесконечным. Свидание, которого он ожидал столько лет, вконец разрушило в нем то представление об обитателях замка, которое он выработал. Старое поколение Эйсенбурга с его предшественником, отцом Венедиктом, во главе, видело в обитателе замка именно того кавалера Лакруа, который упоминался в книге монаха Ансельма и чей портрет был там изображен. Но он сам не верил этому предположению, хотя и не имел никакой определенной догадки. Во всяком случае, для него являлись лишенными всякого основания многочисленные легенды, ходившие про таинственных обитателей замка. К числу этих легенд он относил и самую способность Лакруа угадывать мысли говорящего с ним человека. Теперь ему пришлось воочию убедиться в справедливости этого слуха. Но более всего его поразило загадочное объяснение относительно появления Корнелиуса фан-дер-Валька... Каким образом мог он в одно и то же время быть при кончине Лакруа и вместе с тем приехать пос-

ле его смерти?.. Оставалось одно средство немедленно разъяснить это недоразумение, именно — прочесть записки самого Лакруа... Но на это священник не мог решиться — рукопись, переданная ему, его пугала... Он боялся за себя, точно вместе с первой прочтенной страницей ему пришлось бы вычеркнуть все прошлое и возложить на свои плечи непосильное бремя... Наконец, он еще был жив, к нему надо было идти, а узнав заключающиеся в рукописи тайны, может быть, ни один человек не решился бы стать лицом к лицу с их обладателем...

Но роковой час наступил... Весь объятый трепетом, тщетно стараясь себя успокоить, священник вступил в комнату, за портьерой которой находился умирающий. Он был один... Но оттуда, из-за портьеры, до него доносились сдерживаемые рыдания. Он прислушался. Рыдания то прорывались, то затихали, чтобы возобновиться с новой силой... Сомнения быть не могло: это плакала она, таинственная «госпожа из замка». Страшная минута расставанья с жизнью приближалась...

Священник хотел пройти за портьеру — ему казалось, что теперь каждая секунда дорога, и что ему необходимо исполнить свой пастырский долг.

Он приблизился к поднятой с одного угла портьеры, как вдруг оттуда, из-за нее, раздался слабый голос кавалера Лакруа:

— Успокойся, Агнесса, он идет... Я чувствую его...

В ту же секунду раздался полный ужаса крик, прерванный заглушенным рыданием.

Священник заглянул за портьеру: на коленях, у кровати, на которой лежал Лакруа, стояла женщина, видимо, в порыве ужаса спрятавшая свое лицо в складках одеяла и закрывшая его руками. Кавалер Лакруа полусидел на постели. Его взор устремлен был к входной двери.

Священник хотел было ступить шаг вперед, как почувствовал, что какая-то необъяснимая сила оттолкнула его назад, за портьеру. Он оглянулся: мимо него, из глубины комнаты, плавно двигалась высокая худая фигура, в которой он, по сохранявшимся в предании описаниям, тотчас узнал



Кавалер Лакруа полусидел на постели...

Корнелиуса фан-дер-Валька. Что-то особенное поражало при первом взгляде на эту молчаливую, строгую фигуру, шума шагов которой не было слышно, точно она двигалась, не касаясь пола ногами. По крайней мере, так показалось священнику. Мало того, когда Корнелиус фан-дер Вальк прошел мимо него, он снова почувствовал как бы удар электрической искры, и сам уже собой отошел шаг назад, не теряя, однако, из виду внутренности комнаты.

Корнелиус фан-дер-Вальк ступил за портьеру и остановился, скрестив на груди руки и опустив голову. Вся его поза выражала собой глубокое уважение, как бы даже благоговение.

Кавалер Лакруа приподнялся на постели, между тем как «госпожа из замка», которую он называл Агнессой, по-прежнему стояла на коленях у его кровати с закрытым лицом, как бы онемевшая от ужаса при появлении Корнелиуса фан-дер-Валька. Сам Корнелиус фан-дер-Вальк не трогался с места. Ни одна складка его одежды не шевелилась, и даже, как показалось священнику, его губы не дрогнули, когда он заговорил.

— Я пришел, великий магистр, — произнес он, — потому что ты звал меня. Не настал ли час?..

Голос Корнелиуса звучал глухо, как бы выходя откуда-то далеко. Если самое его присутствие подавляюще действовало на священника, то этот замогильный голос привел его в трепет.

— Час настал, — отвечал Лакруа, — и я хотел еще раз видеть тебя, брат... Я хотел сказать тебе последнее прости здесь, чтобы радостно приветствовать тебя там, в сфере обновения, когда пробьет и твой час..

— Он тоже близок уже, учитель!..

— Я знаю это. Но пока он еще не настал, ты остаешься старшим и последним из братьев... Тебе принадлежит по праву все, что принадлежало мне... Ты получишь все, когда прибудешь сюда... Прощай!..

— Прощай!.. — прозвучал голос Корнелиуса фан-дер-Валька.

Священник посторонился от прохода, чтобы пропустить загадочного посетителя, но тут же принужден был прислониться к стене, чтобы не упасть от поразившего его ужаса: Корнелиуса фан-дер-Валька не было в комнате: он исчез, исчез без всякого следа, не сходя с места...

Сомнения быть не могло: он видел дух Корнелиуса фан-дер-Валька, — дух, вызванный таинственной силой и принявший образ человека!.. Теперь понятно было, почему он явится, как сказал кавалер Лакруа, но не придет, почему для него не надо было времени, чтобы проехать громадное пространство, отделявшее его от Эйсенбургского замка...

При первом появлении Корнелиуса фан-дер-Валька невольный трепет овладел священником — и теперь это было понятно: он почувствовал явление духа, привидения, он стоял на границе познаваемого и конечного, за которой раскрывается область непознаваемого чувствами и недостижимого для ума простого смертного...

Какие еще тайны откроет ему исповедь умирающего? Не содрогнется ли душа его от их тяжести?..

При этой мысли священник в первую секунду хотел было бежать, скрыться из этого места, находившегося во власти непонятных сил...

Но он вспомнил о своем сане: удалиться от умирающего человека значило бы совершить преступление, которому нет оправдания. Наконец, что значит вся человеческая мудрость в сравнении с премудростью Божией, и могут ли невидимые, но находящиеся во власти человека силы быть страшны для служителя Бога, действующего во имя Его?..

При этой мысли самообладание вернулось к священнику и он ступил за портьеру.

Кавалер Лакруа умирал: он увидел это при первом взгляде на осунувшиеся, обострившиеся черты его лица, на которые смерть уже положила свой страшный, таинственный знак... На него был устремлен взгляд еще более загадочный, еще более таинственный, чем тот, который поразил его при первом свидании с кавалером Лакруа... Как будто умиравшему открылось нечто новое для него самого и для него страшное своею неизвестностью, всю беспредельность

которой, однако, он уже предчувствовал всей силой последнего, вещественного сознания... И в этом, устремленном на священника взгляде, ярко отражалось нечто знакомое каждому человеку: тут был и страх, и надежда, и болезненная жалость к самому себе, и мучительная просьба о сострадании, о помощи... Недоставало только последнего, раздирающего сердце крика, с которым не всегда умирает человек, но который он всегда, хотя тщетно, силится испустить перед смертью вместе со своим последним земным дыханием...

Эта картина и этот взгляд были знакомы священнику, видевшему много смертей: он знал, что в последние минуты земного сознания душе человека открывается непознаваемое человеческими чувствами... И в эти последние минуты вся жизнь, со всеми ее прожитыми радостями и огорчениями, кажется ему страшным кошмаром, ужасным сном, за которым лишь изредка, в минуты душевного просветления, в туманных чертах являлся перед ним образ истины... образ истины, который он стремился уловить целую жизнь, но который восстает перед ним только на границе, отделяющей конечное от бесконечного...

Эта последняя трагедия — трагедия смерти, трагедия борьбы рушившихся надежд земной жизни и нового мира, открывающегося человеку с моментом смерти, — была известна священнику, читавшему ее в глазах умирающих. Но тех умирающих примиряла религия даже с самым сознанием о смерти...

Теперь перед ним разыгрывалась новая, неизвестная ему трагедия: умиравший обладал неизвестными, страшившими человека силами... Он познал недоступное человеку... И все-таки область, открываемая смертью, запечатлела в его очах тот же ужас смерти, свойственный всякому человеку...

Этот ужас был непонятен священнику: он верил, и потому знал, *куда* пойдет... Его вера спасала его от страха смерти... Но тот?.. Тот, умирающий, лежавший перед ним, чей взор с такой предсмертной тоской был устремлен на служителя Бога?..

Был ли этот Бог ведом ему, умирающему?.. Или же Его образ явился перед ним только в момент последнего, предсмертного просветления?..

Тогда чем же жил этот загадочный человек? Какою властью он вызвал проявление неведомых человеку сил, свидетелем которого был сам священник?

И если он был выше всякого созданного для людей закона, то почему же в его предсмертном взгляде выражался ужас смерти, свойственный всем людям?.. Ведь смерть, как и все, недоступное пониманию смертных, должна была быть ему известна?..

Эти мысли молнией пробежали в сознании священника, отразились в нем предстоящим ужасом неизбежной, его собственной смерти... И сознание этой неизбежной, общей участи всего живущего никогда не восставало перед ним в такой поразительной реальности, как теперь... и никогда не наполняло его таким ужасом пред далеким, по его человеческому сознанию, моментом расставания с самим собою...

«Из земли взят — и в землю пойдеш...» — вспомнились ему когда-то почти бессознательно заученные слова.

Но впечатление сейчас переживаемого вложило в них глубокий смысл для него — и все, что прежде страшило его смыслом этих слов, теперь примирило его с мыслью о смерти... Твердыми шагами подошел он к изголовью умирающего и полным радостного успокоения взглядом встретил полный предсмертной тоски устремленный на него взгляд переживающего последние человеческие муки человека...

И в глазах кавалера Лакруа отразилась та же радостная надежда, которой горел взгляд не умудренного недоступным человеку опытом, но жившего верою смиренного слугителя Бога.

Наступал момент совершения таинства смерти — последнего таинства, в котором должна выражаться вся живая сила человека, которого он жил в своей жизни.

— Уйди, Агнесса!.. — прошептал уже коснеющим языком кавалер Лакруа.

Женщина, которую видел священник все в одной и той же позе, с лицом, спрятанным в складках одеяла, подня-

лась и выпрямилась во весь рост.

Новое смущение овладело душою священника: он знал, что видит перед собою «госпожу из замка», он знал, что «госпожа из замка» безвыходно пробывала в нем более пятидесяти лет — и теперь он видит перед собою молодую восемнадцатилетнюю девушку, идеально красивые черты лица которой были омрачены скорбью, окутаны печалью, но были так же юношески живы, как юношески свеж и лучист был взгляд ее глаз.

Являлась ли перед ним новая загадка, или же он был жертвой простого обмана, в котором принимала участие и она, — «госпожа из замка»?..

Но нет, — умирающий не мог лгать, и скорбь перед постелью умирающего не могла быть притворной. Сомнения быть не могло и на этот раз: перед потрясенной, подавленной душой священника предстала новая тайна, которая станет для него ясна или в тот момент, когда он переживет то, что переживает сейчас лежащий перед ним человек, или же когда он выслушает его предсмертную исповедь...

И ему приходилось призывать всю свою веру и все свое самообладание, чтоб быть готовым выслушать эту исповедь...

Он сделал еще шаг к изголовью умирающего. «Госпожа из замка» была в этот момент уже в выходных дверях. Последний раз она взглянула на умирающего, потом перевела взгляд на священника, и он почувствовал, что этим взглядом она умоляет его о помощи умирающему...

И он подошел к нему, веруя, что вместе с ним придут и надежда и утешение...

Через час жители Эйсенбурга увидели своего священника, поспешными шагами идущим из замка к церкви. Оттуда он вышел уже в предшестве причетника, звонившего в колокольчик.

Весть о том, что таинственный обитатель замка умирает, неизвестно какими путями распространившаяся в деревне, теперь подтвердилась. Простодушные деревенские обитатели, еще день тому назад избегавшие говорить обо всем, происходившем в замке, становились на колени, заслышав

звон колокольчика, и в своей молитве причисляли умиравшего к числу многих почивших братьев, забывая об ореоле таинственного, которым еще так недавно они окружали главу отходившего в вечность.

Прошло еще три дня — и на приходском Эйсенбургском кладбище прибавилась одна новая могила, в которой навеки скрылся прах таинственного обитателя Эйсенбургского замка. «Госпожа из замка» шла за ним до самой могилы. Но ее лицо было закрыто густой вуалью, сквозь которую не могли проникнуть взоры даже самых любопытных из эйсенбургских обитательниц.

Корнелиус фан-дер-Вальк явился в Эйсенбург месяц спустя после похорон. Всего двое суток пробыл он в замке, но за это время оттуда был отправлен целый транспорт тяжелых ящиков, и на могиле кавалера Лакруа явился мраморный памятник, на котором изображен был лишь шлем с развевающимися перьями, меч с крестообразной рукоятью, положенные на княжеской мантии, да загадочная надпись:

Hic sepultum est corpus humanum.
(Здесь погребено человеческое тело).

«Госпожа из замка» исчезла вместе с Корнелиусом фан-дер-Вальком.

Вслед за ними оставил свой приход и священник. В прощальном слове своей пастве он не упомянул о том, куда идет, а оставил лишь только один завет — *верить и не сомневаться*.

Прошло тридцать лет. Любопытный турист, заглянувший в один из упраздненных ныне французских монастырей, познакомился с отшельником, тридцать лет пребывавшим в добровольном заточении. Этот отшельник — бывший некогда священником эйсенбургского прихода, — передал ему записки кавалера Лакруа и рассказал историю таин-

ственного обитателя герцогского замка. Но в этих записках не все сохранилось в том виде, в каком они были написаны: многое в них было уничтожено монахом-отшельником, вероятно, и сделавшимся отшельником потому, что он прочел их целиком и выслушал предсмертную исповедь написавшего их.

Как бы то ни было, эти записки стоят того, чтобы прочитать их. Тем же, кто усомнился бы в их достоверности, можно напомнить слова, истину которых, даже и против своего убеждения, сознает каждый человек. Эти слова мирового страдальца, обращенные к скептику, каким является каждый обыкновенный человек, говорят:

*Есть многое на свете, друг Горацио,
Чего не снилось нашим мудрецам...*





Записки Лакруа.

меня охватывает холод смерти... Я чувствую его: он уже пробегает по моим жилам, пугает мою душу мраком раскрывающейся перед ней холодной, беспредельной вечности, давящей своим величием мое слабое сознание...

Но сердце мое еще бьется: оно полно горячей любви к людям, оно содрогается и страдает страданиями человечества.

Из мрака прошедшего, из седой глубины древности, в моем сознании восстают картины великой борьбы — борьбы человека ради достижения истины, ради света, который должен озарить его многострадальное существование, дать ему смысл.

Где же эта истина? В самом ли человеке, внутри его, или она должна прийти извне, как откровение свыше? Может ли человек достигнуть ее, пытая самого себя, свыше прося силы для существования, веруя, сомневаясь и страдая, или же, ожесточенный, связанный одною цепью бы-

тия со всем живущим, он должен стремиться к господствованию над законами мира и, подчиняя их своей воле, стать господином вселенной?

Вера ли и покорность составляют удел человека, или же гордое сознание своих сил и молчаливое страдание — веками и поколениями — до тех пор, пока не восторжествует его сила, и он станет выше всякого закона, предвечно созданного для каждой из живущих тварей?

Моя многовековая жизнь приходит к концу. Я выше всех людей, потому что я прожил несравненно более каждого из них, в отдельности взятого. Я видел, как лишненное света откровения человечество призывало, в борьбе ради истины, на помощь себе великие стихийные силы; я присутствовал при кровавых жертвах, приносимых ненасытному Ваалу, пожравшему истину; я, вместе с жрецами Изида, пытался открыть великую тайну, наблюдая с вершины пирамид за течением вечных светил, озарявших долину возрождающегося Нила; я, вместе с Фаустом, проводил долгие десятилетия в душной и смрадной средневековой лаборатории, отыскивая жизненный эликсир; я присутствовал, наконец, при нескончаемом мучении тех, кто мучился и страдал и сжигался на кострах во имя Того, Кто Сам был всепрощение и любовь!..

И моему ли сердцу не болеть за болезни человечества, разделенные мною, мною пережитые шаг за шагом, век за веком?.. Мне ли не умудриться опытом, когда за мною стоит мудрость многих поколений?..

Я видел лицемеров, говорящих о любви и попирающих ее; я видел фарисеев, ненавидящих истину, но превозносивших ее; в толпе ослепленных я рукоплескал ауто-да-фе Гренады; меня жгло знойное солнце Сирии и Палестины, когда среди многих я шел проливать кровь человечества ради крови, пролитой во спасение человечества; когда, одержимый духом гордыни, я на земле шел искать царства небесного Солима.

И я пережил все это, и я остался жив.

И вот, в назидание человечеству, в последние дни моей жизни, я должен изложить полную трагизма повесть моих

заблуждений и моих страданий. Но мои заблуждения и мои страдания были вместе с тем заблуждениями и страданиями многих людей в течение долгих столетий. Вот почему, думаю я, эта повесть будет поучительна и почему она не должна умереть вместе со мной.

Мир действительный, окружающий меня, давно уже перестал казаться мне таким, каким он кажется другим людям и каким принимал его сам я некогда. Он представляется мне действительно кажущимся, ибо дух мой освобождается от материальных уз. Вечный вопрос о том, что есть истина — вопрос, ради которого я впал в великие заблуждения, — и теперь для меня так же близок и так же недосыгаем, как и столетия тому назад. Но дух мой уже близок к вечности, в которой заключается истина. Я искал эту истину в мире видимом, познаваемом моими чувствами.

Я принадлежу к числу тех, на которых, с первых шагов их сознательного существования, оно, — называемое людьми судьбой, роком, — имело решающее значение, предопределившее весь их жизненный путь.

И оно проявилось для меня внезапно, знамением таинственным и загадочным, поразившим мое сознание.

То было в Святой земле, куда, в числе многих, ныне уже свободных от земной оболочки и отошедших в вечность, — я шел для завоевания мест, где совершилась жертва Божественного Испытателя.

Во главе моего отряда, с поднятым забралом, сверкающим взором, дыша жаждой истребления, я мчался против врагов — врагов Христа, как думал я в своем ослеплении...

И вдруг таинственная сила осенила меня. Сквозь мое тело прошел невидимый удар, рука сама собою задержала повод, и благородный конь мой взвился на дыбы... Рыцари и латники, несшиеся вслед за мной, замерли на месте... Дикие крики сарацин, стремившихся на нас беспорядочной ордой, также внезапно смолкли, и полчища неверных, пораженные ужасом, остались прикованными к одному месту.

И тут все мы — воины, шедшие отвоевывать гроб Господень, и рать, противопоставшая нам, сделались свидетелями чудного знамения: солнце, сиявшее в вышине, как



...во главе своего отряда я мчался против врагов Христа...

бы померкло, задернутое и скрытое из глаз туманной, легкой дымкой. Мрак среди дня окутал нас и надвинулся на нас подобно покрову. И на темном, дымчатом фоне дрожащей и колеблющейся пелены, спускавшейся на нас, вырезалось кроваво-красное, резко очерченное гигантское изображение креста. Его подножие опиралось в побагровевший шар солнца, сам он занял весь видимый небосклон, и вершина его проходила сквозь покрывшую небо мглу и терялось в ней. И кресты, как символ нашего служения, изображенные на наших шлемах, щитах и латах, вдруг побагровели и загорелись кровавыми переливами...

Невыразимый ужас сковал нас... Даже наши кони, захрапев и шарахнувшись, вдруг замерли, понутив головы. То же видение предстало и глазам неверных, пораженных чудным знамением.

Но вот на перекладине креста, там, где она перекрещивалась с его основанием, внезапно обрисовался яркий огненный круг. Лучи его расходились во все стороны, переплетались между собою, давали иглоподобные отростки, и в их прихотливой игре, в их режущем глаза блеске, перед нами явилось точное подобие тернового венца, возложенного некогда на святую главу Искупителя мира...

Необъяснимое, чудное и ужасное мгновение! Мог ли произнести кто-либо из нас хотя одно слово при виде этого таинственного видения?... Слова замирали на устах, вместе с дыханием спирался крик, готовый вылететь из потрясенной груди, и в раскрытых, прикованных к таинственному видению глазах слезы умиления застыли от ужаса, переполнявшего душу...

Но вот огненный венец отделился от креста и кровавым огнем горел в темной мгле покровы, застилавшего и небо и солнце... Его отростки стали длиннее и теперь уже вполне походили на шипы терния. Он опускался все ниже и ниже — прямо над моей головой, так как я находился один между двумя враждебными полчищами. Огненные лучи осветили меня и моего коня, павшего на колени и скрывшего свою голову между передними ногами. Я хотел было сойти на землю, но члены мои не повиновались усилию воли.

Огненные лучи надвигались на меня, и весь я был залит кровавым светом. Глаза мои не различали уже ничего, и лишь трепетная молитва о спасении сама собой звучала в моем остановившемся сердце...

Когда я пришел в себя, вокруг меня стояли мои храбрые рыцари, взиравшие теперь на меня с каким-то недоумением и тайным трепетом: они видели, как терновый венец опустился на меня, и как иглы его вонзились в мою голову, залив всего меня кровавым светом... Прошла секунда, и дивное видение исчезло, дымчатая пелена раздёрнулась, и солнечный свет озарил меня, сидевшего, с преклоненной головой, на павшей на колена лошади, между сарацинами и рыцарями...

Что означало это знамение?.. Был ли я отвержен волею всемогущего Провидения или им избран ради совершения начертанных им таинственных путей?..

Слабый ум человеческий терялся, страх проникал в сердце, и взгляды окруживших меня товарищей выражали тяжелое сомнение, страх и ужас...

Но лишь только сознание вернулось ко мне, как я поднял палицу и с криком:

— Бог помогает нам! — устремился на все еще скованные ужасом полчища неверных...

Но только немногие рыцари бросились за мной — других удержал страх последовать за человеком, которому таинственный знак предсказал страдание...

Но панический ужас лишил сарацин возможности защищаться: они слышали, что святой символ христиан — крест — служит в помощь взирающим на него с верою. Они видели этот крест спускающимся с неба и покрывшим свою сенью устремившихся на них неверных людей, брони которых носили на себе изображение того же священного символа — и они бежали перед горстью рыцарей-крестоносцев, за которых было само небо...

Такой был первый таинственный знак, указавший мне предопределение судьбы...

Под старость обыкновенно память сохраняет человеку с полной ясностью лишь картины и образы давно минув-

ших лет — все после бывшее сглаживается, расплывается и исчезает, теряясь в пестром калейдоскопе пережитого. Может быть, картины детства и юности оттого и живее под старость, что самые впечатления молодости ярче, что они глубже врезаются в память, и что чем дольше живет человек, тем слабее и слабее воспринимает его разлагающийся организм впечатления жизни.

Когда же я воскрешаю в моем воображении минувшее, мое детство и юность являются мне задернутыми туманной завесой, на которой, как на экране, лишь отдельными картинами рисуется все тогда пережитое. В массе действующих лиц, в разнообразнейших положениях я вижу в этих картинах себя. Но сознание мое уже не отождествляет тогдашний мой образ со мной самим, каким я сознаю себя теперь. Я ли это?.. Иногда мне кажется, что нет. Но временами какая-нибудь резкая черта вдруг будит во мне живое воспоминание, во мне пробуждается жгучее — скорбное или радостное чувство, и тогда я уверен, что событие, проходящее передо мной в моей памяти, было именно со мной, что это я являлся там действующим лицом.

Кто я и кто были мои родители? Когда и где я родился? Как обычны, как просты эти вопросы для всех почти без исключения людей! И как неразрешимы эти вопросы для меня! Но я попробую, всей силой моего минута за минутой угасающего сознания восстановить в своей памяти все, преданное временем забвению, постараюсь если не в яркой, то в правдивой картине воспроизвести минувшее.



I

Путь от Дамаска в Египет шел через Палестину. Караваны непрерывной вереницей тянулись по этому пути, и звон колокольчиков, подвешенных к шеям верблюдов, далеко, вправо и влево, разносился по безмолвной пустыне. Пестрые одежды, сверкающие копья, колыхающиеся «корабли пустыни» — все вместе, озаренное горячим, жгучим солнцем, составляло полную ярких красок и кипучей жизни картину. Но раз в месяц по этой дороге проходил караван, любоваться которым выходили даже виноградари, с утра до вечера занятые в своих вертоградах. Предкам, отцам и дедам этих виноградарей был знаком этот караван, с неизменной правильностью совершавший свой путь. Обыкновенные купеческие, груженные всякой всячиной, караваны были ничтожны в сравнении с этим караваном — по сольским караваном, ежемесячно отправлявшимся в разные страны могучими фараонами Египта, с которыми состояли тогда в сношениях все властители Сирии и Вавилона, Ассирии, Месопотамии, Финикии и Филистимского побережья, а также и иерусалимский первосвященник. В те времена, с которых начинается моя повесть, повелителями Египта были поклонники солнца.

Я жил при дворе фараона, получая воспитание наравне с знатнейшими юношами. Но жизнь в Египте всегда казалась мне чуждой, и смутные воспоминания о родной

земле часто тревожили мою душу, грезы рисовали сердцу родной священный город Иерусалим.

И вот, когда пришлось мне, носившему тогда прозвище Аменописа, услышать, что мне приказано сопровождать посольский караван, направлявшийся через Палестину, сердце мое радостно забилося... Я говорю — мое, но я ли тот Аменопис? Я ли, умирающий теперь в стенах этого замка, полвека служившего мне тюрьмой?..

Но как бы то ни было, молодой Аменопис радостно собирался в путь. Но — увы! — родной Иерусалим ему пришлось увидеть еще не скоро, хотя, может быть, именно благодаря этому он и нашел свое земное счастье.

Три уже раза Аменопис сопровождал караваны, но ни разу ему не приходилось пройти дальше Дуника, где он сдавал всегда караваны другому уполномоченному, родом сирийцу. В четвертый же раз, когда он выходил из Дуника, ему надлежало пройти по дороге через Сихем в Иерусалим, дабы доставить первосвященнику послание фараона.

Последние лучи заходящего солнца золотили Эфраимские горы, когда караван, с Аменописом во главе, спускался по каменистой тропе к прохладному источнику.

Хотя до Вефиля было всего два часа пути, но утомленные люди отказывались следовать далее, и караван остановился на ночлег.

Прошло немного времени, и все, даже часовые, вооруженные мечами и копьями, погрузились в глубокий сон, и только молодой Аменопис не смыкал глаз. Странное, необъяснимое чувство какой-то предстоящей опасности, перед чем то неведомым, сжимало его сердце... Кроме того, он предчувствовал, что скоро увидит близких, родных, которых не видал никогда, и их образ, как и его собственный, теперь — увы! — изгладился из его памяти, хотя жив в его сердце.

В Дунике караван Аменописа соединился с другим караваном, отправленным с посольством от одного из ефратских владетелей.

Еще беспокоило Аменописа присутствие в караване некоего Амида, подобно ему еще мальчиком воспитывавше-

гося вместе с ним при дворе фараона и бывшего его тайным недоброжелателем.

Аменопис, раздумывая об Амиде, представлял его себе в виде шакала — и вдруг, где-то поблизости, раздался вой настоящего шакала. Аменопис вздрогнул от испуга, и в остаток ночи уже не сомкнул глаз.

Наутро, с рассветом, караван тронулся в путь. Неподалеку от Луса* лежала группа камней, сложенных, согласно преданию, смиренным патриархом Иаковом на том месте, где он видел во сне ангелов, сходящих и восходящих на небо. Недалеко от этого первобытного жертвенника стоял каменный столб с священной надписью: «Богу Всевышнему», высеченной иерусалимскими первосвященниками.

На этом памятнике красовался свежий венок. У первых хижин Луса Аменопис и его спутники увидели молодую девушку с венком на голове из таких же цветов, какие были и на памятнике.

Миловидная, привлекательная девушка с робостью взглянула на проезжих, но ласковый голос Аменописа, спросившего ее, не она ли положила венок на памятник, ободрил ее. Она узнала в вопрошавшем своего соплеменника и отвечала:

— Да, конечно, это я нарвала цветов, сплела венок и повесила там.

Спутники Аменописа уже отъехали на несколько сот шагов и остановились у одного из четырех колодцев этого местечка; заметив, что начальник каравана заговорился с какою-то девушкой, они оставили его в покое, так что молодой человек мог беспрепятственно беседовать и наслаждаться созерцанием очаровательного юного существа.

— А как зовут тебя?

Аменопис пустился в расспросы, а девушка, в милом смущении, то вспыхивала, то медленно краснела.

— Ты откуда пришла?

— Мои родители звали меня Ревеккой, — заговорила девушка. — Они давно умерли, а я служу старому Талмаи...

* Языческое название Вефиля (дом Божий).

Он обращается со мной как с дочерью. Один из наших соседей ездил в Иерусалим продавать шерсть; вернулся и говорит, что слышал там, что Аменопис скоро приедет в священный город. Талмай и послал меня в Вефиль помолиться за счастливое возвращение... Я еще до восхода солнца вышла, была там и помолилась. Эти самые голубые цветы — любимые мои цветы, поэтому я сплела из них венок и положила на памятник. Это только ничтожный дар благодарности Богу и моему господину, благодетелю.

Тут Аменопис готов был обнять молодую девушку; но он быстро овладел собой, воздержался, однако не мог остановить слез умиления — и слезы неудержимо покатились по его щекам... Ведь он услышал имя своего отца, мгновенно воскресшее в его памяти, и из уст такой милой девушки!

— Неужели же ты...

Ревекка запнулась, слезы сдавили ей горло; она сама расчувствовалась, догадавшись, кто стоит перед ней.

— Неужели на долю твоей служанки, — продолжала она, — выпало счастье сегодня же сообщить моему господину радостную весть о скором свидании с давно потерянным дорогим сыном?

Аменопис от волнения только кивнул утвердительно головой.

Ревекка опустилась на колени и поцеловала край его одежды.

Молодой человек поднял девушку и, прикоснувшись губами к ее челу, воскликнул:

— Приветствую тебя, сестра моя! Да, я Аменопис! Но мне надо расстаться с тобой; ступай же скорее и скажи нашему отцу, что я скоро буду. Вот доведу караван в Иерусалим и к вечеру буду уже у нашего отца.

Он дружески пожал руку девушке. Она сразу полюбила его, но теперь не время было отдаваться этому чувству. Чтобы запечатлеть эту встречу, Аменопис из благодарности к Всевышнему поклялся называться Натанаилом. Он быстро догнал караван и к заходу солнца они уже были у Иерусалима. Вот и самый город! Часовые радостно привет-

ствовали пришедший караван. Один из них крикнул начальнику каравана:

— Мы знали, что вы придете! первосвященник уже ждет вас!..

Натанаил приостановился, и стражник пояснил:

— Да, египтянин, видевший вас у колодца в Вефиле, предупреждал о вашем прибытии.

— Какой египтянин?

— Зовут его Амидом, хотя облик его не похож на египтянина.

Неприятно было это слышать Натанаилу, — и лицо его омрачилось; он не сомневался, что это был минеец Амид. Дело в том, что Амид, по поручению Фараона, проживал теперь в Иерусалиме и, шпионства ради, выехал навстречу каравану. Если это так, то неужели он слышал разговор с Ревеккой?.. Неужели ему захотелось впутать в свои мошеннические проделки и имя этой девочки? Поразмыслив, он успокоился, что ему это не могло удастся, и решил на будущее время быть осторожнее относительно этого минейца: от него можно всего ожидать...

Царское посольство уже приближалось к воротам, чтобы приветствовать вновь прибывших и указать отведенное им помещение.

Натанаил устроил своих спутников, представился первосвященнику, который приказал ему явиться через два дня, чтобы принять от него известное послание к фараону. Ввиду этого Натанаил решил поторопиться по той же дороге, по которой прибыл сюда.

В Блероте его ждал старик-отец, нарочно выехавший к нему навстречу. Нечего и говорить, как велика была радость при свидании отца с сыном!..

Проснувшись утром, Натанаил почувствовал себя совсем бодрым; вот он опять среди родных, да не один, а вместе с Ревеккой... И она уже успела привыкнуть к нему. Слишком быстро прошли два дня. Дорогой гость много порассказал жадно слушавшим его о чудесах Египта. Ревекка также слушала эти рассказы, и глаза ее как-то особенно поблескивали. А когда Натанаил простился с родными и уже сел

на коня, — молодая девушка с сияющим лицом подошла к нему с собранными собственноручно винными ягодами. Корзиночка эта была увита теми же синими цветами.

Благословив Натанаила, отец крикнул ему вслед:

— Мир тебе, сын мой!

После двухдневного пути от Иерусалима до Газы караван остановился на отдых, чтобы подготовиться к дальнейшему пути через страшную пустыню.

Один из сирийцев, которому было поручено вручить фараону царское послание, был очень озабочен и постоянно держал при себе кожаную сумочку с письмом. Арцхули, как его звали, получил по этому прозвище «отца сумки». Натанаил подошел и спросил о причине его задумчивости.

— Меня заставляет задумываться, — понизив голос, отвечал Арцхули, — этот минеец, которого фараон назначил чем-то вроде советодателя чужеземельцам, держащим путь от Газы в Иерусалим. И это тот самый, что присоединился к нам в Иерусалиме — я не доверяю ему. Если минеец должен, по поручению фараона, приветствовать здесь, в земле хананеян, приближающееся посольство, то почему он не исполнил этого открыто там, где он встретился со своею родственницей?.. Я ехал впереди тебя и отлично видел этого аравитянина, проскользнувшего в ту самую мазанку, где сидела девушка... Я узнал его и потом, в Иерусалиме.

Натанаил, удивленный и восхищенный проникательностью сирийца, не имел времени отвечать, так как приходилось двигаться в путь.

К вечеру караван приближался к Газе. В сгущающемся ночном сумраке уже можно было различить очертания передовых оливковых рассадников Газы.

Аменопис, потрясенный пережитыми событиями, весь ушел в себя. Каким образом, при виде посторонней девушки, назвавшей ему совсем чуждое имя, вдруг воскресло в его памяти сознание того, что имя это носил его отец? Почему раньше казалось ему, что все, случившееся с ним, непременно и должно было случиться? Почему сразу узнал он своего отца, от которого оторван был трехлетним ребенком, в сообществе многих других, взятых ко двору фа-

раона для воспитания вместе с наследником престола?

А Ревекка? Где видел он ее раньше?.. И вот, напрягая свою память, он вызвал в своем воображении ее образ и обстановку, при которых уже видел ее однажды.

То было в Египте. Он ехал в Мемфис. Жгучее солнце раскалило пески пустыни, дышавшие зноем; воды Нила помутились и клубились туманом; верблюды замедлили шаг, и Аменопис, отделившись от каравана, задержал своего коня в тени великой пирамиды Хеопса. И тут перед ним внезапно предстала девушка, своеобразная красота которой и менее смуглая кожа указывали на чужеземное происхождение, хотя одета она была как египтянка. Увидев Аменописа, она с почтением склонила голову.

— Откуда ты, цветок Нила? — спросил ее Аменопис. — Как очутилась ты здесь одна, без провожатых?

— Барка Талмаи, господина моего, — отвечала она, — стоит там...

Она указала рукой на прибрежные заросли, из-за которых виднелась верхушка мачты.

— Кто же этот Талмаи?

— Он левит иерусалимского храма и слугитель первосвященника.

— С какой же целью явился он в Египет?

— Чтоб разыскать сына своего, ребенком отправленного первосвященником ко двору фараона.

— О, разве неизвестно твоему господину, что в таком случае ему трудно найти своего сына, так как «воспитанники фараона» должны забыть свою родину и отрешиться от всех воспоминаний? Разве неизвестно ему, что всякий, пытающийся отыскать своих родных среди «воспитанников фараона», подвергается большой опасности?.. Посоветуй же твоему господину быть осторожнее!..

С этими словами Аменопис тронул коня. О, если б он знал в то время, кто этот Талмаи! Но его предчувствие, подсказавшее ему имя его отца в стране Сихема, ничего не сказало ему в земле Египта!

Теперь Аменопис, в то время как караван его располагался на отдых в одной стадии от Газы, вспоминал эту встре-



— Откуда ты, цветок Нила? — спросил ее Аменопис...

чу и жалел, почему он не напомнил об ней Ревекке. Ее образ витал в его глазах, а за ним виднелась строгая фигура левита Талмаи. В сгущающемся сумраке ему казалось, что он видит их воочию. Он провел рукой по глазам — но видение не исчезало.

— Сын мой, — раздался знакомый ему голос, — мы спешили догнать тебя, чтоб предупредить о предстоящей опасности.

Аменопис вздрогнул: перед ним действительно стояли его отец и Ревекка.

— Твой спутник Арцхули, — продолжал левит, — везет драгоценности для подарка фараону. Товарищ твой Амид дал знать об этом разбойникам пустыни. Спешి скорее вступить в Газу, иначе...

Левит не успел кончить своей речи: раздался шум, подобный ветру урагана, и на караван Аменописа со всех сторон налетели сыны пустыни.

Впоследствии Аменопису приходилось бывать во многих битвах, и звук оружия только веселил его сердце. И тут страх не потряс его души, но, тем не менее, при воспоминании об этой битве с разбойниками скорбь охватывает несчастного бывшего Аменописа, теперь, через много столетий после того вечера, умирающего в чуждой земле.

При воспоминании об этой битве я чувствую, что именно я был тот Аменопис...

В вечернем сумраке звучали удары оружия и раздавались крики избиваемых. Конные фигуры нападавших появлялись то здесь, то там, внося с собою смерть — и среди них я рассмотрел фигуру Амида... Я видел, как он нанес удар старцу-левиту и как меч его опустил на голову дорогой для меня девушки... И я не мог броситься к ним на помощь, сам сжатый со всех сторон...

Разбойники улетели так же быстро, как и налетели. Прошло каких-нибудь полчаса, и я находился один среди трупов и раненых. Со стоном склонился я к телам моего отца и той девушки, но — увы! — то были уже лишь бранные трупы. Голос, настойчиво звавший меня, вывел меня из тяго-

стного забытья: — то был Арцхули, «отец сумки», раненый и умирающий, подползший ко мне.

— Возьми, Аменопис, — говорил он, протягивая мне перевязанный шелковым шнурком сверток, — возьми и передай великому жрецу Ненху-Ра, но храни тайну. Они думали, что драгоценный дар заключен в сумке, которую я носил с собой, но я спрятал его на моей груди и передаю его тебе, обгаренный моею кровью... Помни, не фараону принадлежит этот дар, но великому жрецу Ненху-Ра. Тайно передай ему его — и да не будет мое тело лишено погребения...

II

Как передать мучения моего отчаяния?.. Найти и лишиться? Не лучше ли было вовсе не находить? Но та злая печаль теперь не гложет так моего сердца, как тогда, ибо теперь я знаю, что и потерянное может быть вновь найдено. Тогда же мне это было неизвестно.

Три дня промедлил я, занятый печальными обрядами, и с разбитым сердцем тронулся в обратный путь.

Фараон не сделал мне упреков за потерянные сокровища и повелел подвергнуть позорной казни изображение вероломного Амида, так как сам он скрылся.

Оправившись от болезненной печали, я стал искать случая только увидеть великого Ненху-Ра.

Мы, «воспитанники фараона», получали образование от храмовых жрецов. Ненху-Ра изредка присутствовал на наших уроках, но никогда никому из нас не удавалось видеть его наедине. Сверток, данный мне, я хранил тщательно, но не решался и помыслить о том, чтоб вскрыть его и прочесть в нем заключающееся.

Прошло две недели после моего возвращения. Вместе с другими моими товарищами я присутствовал однажды в преддверии храма, ожидая, когда взойдут вечерние светила, дабы, поднявшись на кровлю, начать наблюдения. Млад-

шие жрецы были вместе с нами, как вдруг появилась перед нами фигура Ненху-Ра, одетого в полное жреческое одеяние.

Мы приветствовали его с почтением, подобающим его сану и его мудрости. Он же, пройдя мимо нас, повелел мне следовать за ним.

Мы спустились на внутренний двор, миновали его и поднялись на кровлю южной стороны, куда был воспрещен вход посторонним и где, в тишине и безмолвии, составлялись жрецами гороскопы и предугадывались таинственные судьбы будущего.

— Аменопис, — сказал великий старец, — я давно ждал, пока ты скажешь мне то, что должен был сказать...

— Великий Ненху-Ра, — отвечал я, — у меня есть к тебе поручение, но исполнить его я должен был наедине. Вот вещь, которая принадлежит тебе и которая...

— Я знаю, — перебил меня жрец, принимая из рук моих сверток, — но любопытствовал ли ты узнать, что в нем заключается?..

— Нет, отец мой, я не дерзнул и помыслить об этом...

— Хорошо, сын мой!.. Награда не минет тебя, ибо ты ее заслужил...

Жрец разорвал свертки и вынул из него сложенный в трубочку папирус. При вечернем мраке, склонившись к горевшему на высокой подставке светильнику, он со вниманием и даже, как показалось мне, с волнением и трепетом читал письма. Я был удивлен, ибо ожидал, что охраняемый с таким самоотвержением дар должен заключать в себе что либо более драгоценное. Но великий Ненху-Ра думал иначе: он, прочтя некоторую часть рукописи, воскликнул от восторга.

— Да будет счастье над тобою, сын мой! — обратился он ко мне. — Ты сделал меня обладателем тайны, которую я лишь прозревал, которую преследовал тщетно в течение всей моей жизни. Ты же и должен сделаться участником в ней — в этом и будет состоять твоя награда...

Изумленный и пораженный, взирал я, Аменопис, на великого старца. В моей душе до сей поры не было к нему

ничего, кроме глубокого уважения, смешанного со страхом; эти чувства каждому из египтян внушались одним священным званием жреца. Но теперь, при его ласковом и вместе торжественном тоне, я ощутил, как раскрывалось мое сердце, и в нем зарождалась любовь, сыновняя любовь, сладость которой так мало пришлось мне испытать. Моими духовными очами я прозрел в великом старце даваемого мне Провидением духовного отца.

— Отец мой, — отвечал я, — в воле твоей направить путь мой угодной тебе стезей. Твоей мудрости известны многие тайны, неведомые нам, и если ты желаешь озарить меня лучами истины...

— О сын мой, — перебил мою речь Ненху-Ра, — мне ли озарять тебя лучами истины? Знай, что всей учености человеческой недостаточно, чтобы вызвать даже слабое подобие истины! Но чем дальше проникает ум человека, тем в большей необъятности раскрываются перед ним законы мироздания. Путь, на который вступает пытливый ум человека, бесконечен так же, как бесконечно и самое мироздание. Но душе человека сладостно идти этим путем. Отныне, сын мой, ты вступишь на этот путь. Взгляни на меня!..

Я подошел к светильнику. Ненху-Ра устремил на меня свой проникающий взор и, к удивлению моему, я увидел, как в его спокойных очах пробежала тень недоумения и легкая судорога передернула его лицо.

Что прочел он в моих чертах? Жрецам Озириса ведома была судьба, скрытными знаками изображенная на лице и руке каждого человека. Ее ли прочел верховный служитель таинственного культа, и она ли привела его в содрогание?

— Дай мне твою руку, Аменопис! — торжественно произнес Ненху-Ра.

И я, приведенный сам в волнение, молча повиновался. Долго жрец разглядывал таинственные линии, и я видел, как сумрачнее и тревожнее становился его взгляд.

— Такова была воля Всесоздавшего, — сказал он наконец, — чтоб случай, как называют его люди, или судьба, как называем его мы, посвященные в таинства, — привел

тебя, Аменопис, ко мне... Я вопрошу звезды, и если они скажут мне то же, что сказали мне изображенные на твоём челе и руке веления, то дивен должен быть твой гороскоп!.. Иди, сын мой, и знай, что отныне ты принят в число моих учеников!

Я удалился и присоединился к своим товарищам. Ни кому из них я не сказал о новом положении, которое мне суждено было занять по воле Ненху-Ра.

До сих пор не было примера, чтоб кто-нибудь из «воспитанников фараона» вступал в касту жрецов. Только верховный жрец мог допустить подобное нарушение закона. Душа моя колебалась, и сам я объят был трепетом: таинственная наука жрецов не только давно уже манила мое любопытство, но и вселяла невольный страх, разделяемый мною со всеми египтянами: мы привыкли с уважением взирать на людей, вся жизнь которых была посвящена служению великим богам, — на тех людей, которым известны были тайны, недоступные нам, которые умели читать грядущие судьбы людей, направлять их волю и в полных глубокого смысла мистериях черпать силы, выделявшие их из ряда людей.

И мне представлялось, что я должен сделаться участником их жизни, разделять их труды и приобрести их познания — и эта мысль радовала меня нескончаемо и вместе пугала своим величием.

Я — потомок избранного народа, сын левита, служившего Единому Богу — сделаюсь жрецом Озириса и Изиды!..

Как внезапно пришла мне на ум эта мысль, так же внезапно показалось мне невозможным исполнить веление Ненху-Ра. Неведомый мне Бог, которому служил мой отец и которого я забыл в чуждой стране, восстал передо мной во всем Своем величии. Родные заветы, из рода в род переходившие в коленях избранного народа, воскресли в моей душе, и огненными буквами начертались передо мной священные слова:

«Велик Иегова, велик Бог Израиля!..»

Венчанный цветами памятник, посвященный Богу Всесильному, предстал предо мной живым укором. И память

о Боге Израиля воскресла в моей душе...

И тут же явилось во мне решение бежать из Египта, из чуждой страны, в землю отцов моих, к священному Иерусалиму.

Но — увы! — решение это я не привел в исполнение, увлеченный жадой знания и потрясенный чудесными видениями, вызванными по воле Ненху-Ра при помощи дивной науки жрецов!..

Горе мне!.. И никогда я не скорбел так об этой роковой ошибке Аменописа-Натанаила, как теперь, в последние часы моей жизни!..

Но утешением мне служит то, что теперь перед моими духовными очами стоит Великий Бог в сиянии всепрощающей христианской любви!..

III

Прошло некоторое время, в течение которого я не видел Ненху-Ра, ни разу не призывавшего меня к себе. Я же ожидал ежеминутно этого призыва и трепетал: мне надлежало высказать верховному жрецу сомнение, меня обуявшее; я должен был отказаться от величайшей почести, какая только может быть предоставлена египтянину — от вступления в священную касту жрецов. Я должен был подвергнуться гневу всесильного старца. Но не последствия этого гнева пугали меня, а потеря благосклонности Ненху-Ра, к которому я, как уже говорил, почувствовал сыновнюю привязанность.

Я колебался и мучился от ожидания. Казалось, время тянется для меня бесконечно долго. Стороной я слышал, что Ненху-Ра, один, даже без своих ближайших помощников, занят составлением чьего-то гороскопа. Не только мои товарищи, но и храмовые жрецы недоумевали по этому поводу: верховный жрец сам составлял гороскоп только для фараона и членов его фамилии. Но я знал, чью судьбу читает Ненху-Ра в звездной книге, и к страху неизбежного

объяснения с ним во мне примешивалось жгучее желание узнать предстоящее мне будущее.

Что сулит оно мне?.. Озарит ли радость мое измученное, исстрадавшееся сердце?.. Светлая ли радость волею неисповедимой судьбы определена мне в моем первом, земном существовании, или под покровом мрачной печали протекут мои дни?.. Откроется ли передо мной таинственная завеса, и станет ли ясна мне судьба, постигшая ту, чей образ ярко запечатлелся в моем сердце?..

Я был молод, и только что распутившийся в моем сердце цветок любви, сорванный беспощадной рукой, оставил по себе мучительно болящую рану. Мне казалось, что эта рана никогда не закроется, что самая жизнь потеряла свою красоту и давящим гнетом ложится на мою истерзанную душу.

«О жизнь, о вечная загадка, то манящая своею прелестью, то являющаяся невыразимым гнетом! Неужели ты затем и существуешь, чтобы вести человека к мраку небытия?.. Какой же смысл в тебе, если на конечной точке, к которой ты приводишь, стоит неизбежный, страшный в своей таинственности, призрак смерти?..» — так восклицал я, Аменопис, и тщетно искал успокоения.

Где она, чудным видением мелькнувшая передо мной? Вернется ли душа ее, как говорит учение жрецов, в тщательно сохраненное мною, по египетскому обычаю, тело? Где витает она теперь?..

О, как страстно хотел я услышать ответ на эти вопросы! И чем больше старался я вызвать перед собой образ погибшей девушки, тем яснее чудилось мне, что ее призрак реет надо мной незримо... И тут новая боязнь овладевала мною: — если дух ее отошел в обитель Авраама, то мне ли, звавшему богом Озириса, соединиться с ним, когда мое тело будет покоиться в саркофаге?

Нет, пусть лучше я откажусь от познания тайн, сулимых мне дивной наукой Ненху-Ра, пусть подвергнусь его гневу, — но возвращусь к вере отцов моих...

Иегова, Всесильный Бог Израиля, есть Бог отцов моих, и будет Богом для меня! Страна, где томились мои со-

племенники, не будет моей родиной, и тело мое не будет покоиться в каменной твердыне, омоченной потом и кровью Израиля...

Так думал я, Аменопис, и принятое решение ободрило меня и успокоило мою смятенную душу. Теперь я ждал уже с нетерпением призыва Ненху-Ра, готовый высказать ему все, что считал непреложным и справедливым...

И вот час, решительный час моей жизни настал. Я получил приказание прибыть на кровлю храма в час, когда посвященные в таинства жрецы читают судьбы, от века начертанные в звездной книге неба.

Пройдя множество внутренних дворов, из которых каждый имел свое название, я поднялся по гранитной лестнице и ступил на площадку кровли.

Ночь покрывала долину Нила. Слабый отблеск ярко горевших на черном покрове светил падал на священные воды и мерцал на пустынной равнине. Необъятная, темная даль расстилалась впереди, и позади лежавший дивный Мемфис окутан был мраком, ибо давно уже был возведен час, в который надлежало тушить огни.

Несколько жрецов в молчании созерцали течение небесных светил. При моем появлении один из них подошел ко мне:

— О, трижды счастливый Аменопис! — воскликнул он, — ты пришел сюда, как простой смертный, душа твоя сгорает от жажды познания, и ты выйдешь отсюда обладателем мудрости, хранимой нами из рода в род!.. Взгляни!..

С этими словами жрец указал мне на темную синеву неба и ярко горевшие в нем звезды.

— Тебе непонятна теперь связь, соединяющая небесные области с земной сферой! — продолжал он, все более и более одушевляясь с каждым словом. — Но наша земная сфера служит только отражением бесконечного... И там, в лазури, скрывающей землю, предначертано все то, что должна вместить в себе земля. Там — действительность, здесь — ее отражение. Там начертано все, что должно совершиться, а здесь оно только осуществляется. Смотри, Аменопис, вон горит и твоя звезда, под которой ты родился!..

Я взглянул по направлению, указанному мне жрецом. Над вечернею звездой, уже совершившею свой путь и едва мерцавшею, готовясь погрузиться в бесконечность, я действительно увидел незнакомое мне светило. Его блеск не походил на звездный: он горел ярко-синим огнем, лучи его переливались красными отблесками, а срединная часть, самое ядро, чернело, как бы заслоненное от глаза.

— Ты видишь твою звезду, Аменопис, — продолжал жрец. — Чудная звезда! Она стоит высоко над зенитом, ее сияние горит и не меркнет, но смерть внутри нее! Она мертва, не умирая, она живет, успев уже умереть!.. Наши письмена ничего не говорят нам о столь дивном предназначении судьбы, и лишь один великий Ненху-Ра может составить твой гороскоп.

Я вперил глаза в звездное небо. Вот она, моя звезда!.. Прообраз моей жизни, таинственный символ моего бытия! В нем смерть и жизнь!.. Дивными и непонятными казались мне слова жреца. Что хотел он сказать?.. Возможна ли, мыслима ли жизнь в одно время со смертью?.. Сомнение брало меня, но чем дольше я вглядывался в мою звезду, тем все более и более начинало мне казаться, что в ее блеске, в короне, окружавшей ее ядро, как то бывает при затмениях светил, играет и переливается сила жизни, а самое ядро, черное и мрачное, хранит в себе холодный покой жизни.

Я уже не слышал дальнейших слов жреца, продолжавшего указывать мне на небесные светила и разъяснять их таинственную связь с земной жизнью. Я бы простоял так целую ночь, вглядываясь в мою звезду, как раздался голос сторожевого жреца:

— Преклонитесь!.. Великий Ненху-Ра идет!..

Я выпрямился. Ненху-Ра в полном жреческом одеянии поднимался по лестнице.

Два оставшихся на кровле жреца и я — все мы приложили наши руки к сердцам и приветствовали служителя Озириса и Изиды.

— Она сияет, сын мой! — заговорил Ненху-Ра, — но блеск ее и течение еще загадочнее, чем линии твоего чела и руки.



— Преклонитесь!.. Великий Ненху-Ра идет!..

Будущее твоё сокрыто даже и от моих глаз, но смысл его я предугадываю...

Ненху-Ра сделал знак рукой, и жрецы удалились. Мы остались вдвоем. Тогда служитель Озириса положил руку на мою голову и, подняв взор к сверкавшему звездами небу, торжественно произнес:

— Я, служитель Ра, принимаю тебя, Аменопис, в священную касту жрецов... Отныне...

— Отец мой, — прервал я его, — выслушай меня. Не произноси приговора твоего прежде, чем я не поведаю тебе моих сомнений!..

— Говори, сын мой! — отвечал Ненху-Ра ласковым тоном, в котором слышалось, однако, некоторое удивление.

— Отец мой, я, Аменопис, уроженец страны Вефиля, и род мой идет от колена Левиина. Бог Израиля есть и мой Бог. Могу ли я изменить вере отцов моих, поклоняясь могущественному Ра, Озирису и Изиде?.. Мне ли принять служение им!..

— О сын мой, — прервал меня Ненху-Ра, — ты говоришь — *мой Бог, Бог Израиля!* Что думаешь ты? Или Великий Ра, жизнедавец, не есть Бог? Бог один! Выслушай меня и вникни! Слушай, что говорит жизнедавец Ра!..

Старец вынул из складок своей одежды папирус и развернул его перед моими глазами.

— Читай, Аменопис! — воскликнул он.

— Но, отец мой, — возразил я, — ночь темна, и я не могу разобрать начертаний.

— Тогда я, служитель Ра, прочту тебе его слова, чтоб вывести тебя из мрака вечной ночи.

Ненху-Ра взял папирус обеими руками и поднял его над головой. Затем, обратив свой взор к небу, он медленно начал читать наизусть, как бы припоминая каждое слово.

— И сказал жизнедавец Ра, — говорил он, — «О, сын Адама, Мне принадлежит власть над вселенною. То, чем ты владеешь, исходит от Меня. Но знай, что пища, которою ты питаешься, не спасет тебя от смерти. Не избавит тебя от немощей одежда, которою ты укрываешься. Ты пре-

успеешь, если язык твой изучится истины; ты погибнешь, если язык твой изучится лжи».

Ненху-Ра промолчал секунду и начал снова:

— И говорит великий жизнедавец Ра: «О, сын Адама, твое существо составлено из трех частей. Мне принадлежит первая часть твоего существа. Вторая принадлежит тебе; третья — нам обоим. И принадлежащая Мне — есть твоя душа. Принадлежащая тебе — твои дела. То же, что принадлежит Мне и тебе — есть твои молитвы ко Мне. Ты должен просить Меня в своих нуждах, и от Моей благодати зависит вынуть тебе!..» И еще говорит великий жизнедавец Ра: «О, сын Адама! чти Меня — и ты Меня познаешь! Бойся Меня — и ты Меня узришь! Поклоняйся Мне — и ты станешь пред Мною!»

Ненху-Ра умолк.

Я старался вникнуть в смысл произнесенных им слов. Что хотел сказать великий жрец? Отождествлял ли он Бога Израиля с жизнедавцем Ра? — Хотел ли он сказать, что Бог один? Но тогда кто же были Озирис и Изида?

И я осмелился спросить Ненху-Ра.

— Отец мой, — сказал я, — но если един Бог — жизнедавец Ра, то можно ли поклоняться ему и вместе Озирису и Изиде?

— Сын мой, — отвечал жрец, — Озирис и Изида — таинственные прообразы. Есть в мире добро и зло, и самая жизнь есть борьба добра и зла. Добро — Озирис, зло — Тифон. Как думаешь ты, сын мой, откуда почерпнуты слова, прочитанные мною тебе, как вещания жизнедавца Ра?..

— Я думаю, отец мой, что мудрость открыла их служителям Ра...

— Мудрость?.. О сын мой, помнишь ли ты годы неволи твоих соплеменников? Они жили среди египтян, их религия — божественное откровение Иеговы — стала достоянием жреческой науки. Не думай, чтобы человеческая мудрость могла дойти до слов, возвещенных мною тебе! Все, что есть истинно в сокровенной религии жрецов, — все почерпнуто из книг твоего народа!..

— Но тогда, отец мой, к чему же было изменять закон, самим тобою названный божественным? к чему изменять смысл откровения и не исповедать открыто веры Израиля?..

— А народ, сын мой? Его взгляды, столетиями укрепившиеся?.. Мы стремимся к тому, чтоб дать народу познание истины, мы вводим его в познание божественного откровения, но, Аменопис, великое дело совершается медленно!.. Вы, евреи, поклоняетесь единому Богу — Ему же поклоняемся и мы, египтяне. Кому же ты изменишь, служа единому Богу?..

— Но, отец мой, — осмелился я возразить, — что скажешь ты о вашей вере в переселение душ? Разве может душа, принадлежащая, как говорит жизнедавец Ра, — Ему, перейти в тело животного?..

Жрец на минуту задумался и потом, подняв на меня глаза, тихо спросил:

— Сын мой, что такое обряд?..

Я задумался и недоумевал.

— Я скажу тебе это, Аменопис, — продолжал Ненху-Ра: — обряд есть внешнее выражение закона, непрестанно напоминающее об его внутреннем содержании. Таковы все обряды, известные народу, такова цель, с которой они установлены. Я не говорю тебе о великих, священных таинствах, чрез которые человек становится участником вечного, но такие таинства известны лишь нам, жрецам. Вера в переселение душ не есть суетная вера. Но, конечно, вечная душа не может вселиться в тело животного — это условность. Но верно, что душа, омраченная и отринутая от света, идет к нечистому источнику.

О Аменопис, смотри глубже! — воскликнул Ненху-Ра. — Гляди: вот мириады звезд горят в синеве лазури. Все ли ты их видишь? Существуют ли еще другие, незримые тебе?..

— Конечно, существуют, отец мой!

— Сколько их? Как далеки они от нас?.. Сын мой, их свет, мерцающий теперь на поверхности долины Нила, бежал по эфиру тысячелетия и миллионы лет, прежде чем достигнуть земли. Если бы дух твой перенесся на одну из

этих звезд, что увидел бы ты? То, что было на земле тысячу лет назад... С отдаленнейших светил ты мог бы увидеть землю в том виде, в каком она была миллионы лет назад... Все, что совершается в земной сфере, остается вечным и живым в бесконечности... Ни одно движение, ни одно действие не пропадает и хранится в великой книге вселенной... О сын мой, велика мудрость Всесоздавшего!..

Что мог ответить я, Аменопис, неопытный муж, только что преступивший черту юношеского возраста, на слова умудренного служителя таинственной науки?

Живая вера, сильная и глубокая, чужда была мне, оторванному от своего народа. Священные откровения Иеговы, возведенные избранному народу, лишь тусклыми знаками светились в моей душе, и на месте веры я жаждал водрузить светоч знания, проникнуть умом в гармонию дивного целого, называемого Вселенной и не имеющего ни начала, ни конца, как не имеет его сама бесконечность...

— Изменится ли что-либо в твоей природе, о Аменопис! — продолжал говорить жрец, — если ты будешь поклоняться Тому же Всесоздавшему, которого почитают все народы под разными именами? Совершишь ли ты грех пред лицом Его, если, посвященный в таинственные обряды, просветленный мудростью, ты будешь стремиться к обладанию сокровенными законами, управляющими мирозданием?... Ты постигнешь сущность бытия!.. О, великое знание!.. Блажен, обладающий им!.. Внемли, сын мой, словам Великого Ра, возведенным чрез избранного его служителя!.. Всему, вызванному дивной силой из мрака небытия к бытию, дано в удел тройное существование: первое, обыкновенное и относительное, может быть и не быть; оно подвержено изменениям и подчинено влиянию светил. Это есть существование вещества. Второе существование есть духовное. Оно было предшествоваемо небытием, но с момента своего начала оно стало неизменным. Оно есть существование души, на которое небесные светила не могут действовать, но могут лишь указывать судьбу ее, предначертанную от века. Наконец, есть третье существование — оно необходимо, непреложно, не создано, не вызвано и вечно,

оно по своему свойству неизмеримо выше первых двух — это есть бытие Верховного Существа, чрез которое и которым все произведено, которое всегда существовало и которое будет существовать вечно.

И это Существо, с бытием бесконечным, есть первая причина всякого бытия. Это Существо безгранично, единственно и несущественно с другим. Оно не имеет товарища в своем бытии.

И вот, Аменопис, человек имеет два существования — души и тела. Душа переживает тело, рано или поздно разрушающееся. Но что же такое душа?.. И она есть существо, простое, однородное и бесплотное, она есть неразрушимый дух Божества. Тело есть связь частиц тленных, различных и вещественных; оно живо и действует, пока только частицы его остаются соединенными вместе. По существу своему душа не врождена телу, как независимо от нее и тело. Душа присутствует в теле подобно тому, как блеск солнца — дивный и невещественный — падает на поверхность какого-либо предмета...

И вот — слушай, Аменопис!.. Душа бессмертна!.. Души вызваны к бытию гораздо раньше тел... До своего воплощения, в ожидании тел, они жили в мире *духовном* в жилище единственно истинных и неумирающих существ. Пока души обитали в этом жилище, для них ясна и познаваема была причина их бытия, в соединении же с телом они теряют познание первой причины всякого бытия и лишь хранят о ней смутную память, вечно стремясь вновь ее познать и постигнуть во время своего воплощенного состояния. И вот, если души, пребывая в телесной оболочке, не забывают первого своего существования и стремятся к познанию первой причины бытия — они возвращаются в свою прежнюю обитель. В противном случае — несчастье их удел! Вечно обрекаются они вращаться в грубом вещественном мире и бесконечно испытывать все превратности и страдания жизни...

— Что же, Аменопис, неправы мы, жрецы Ра, утверждая, что душа, забывшая свое происхождение, вновь воплощается в другом, телесном бытии?.. Не все ли равно, ка-

кое это будет тело?..

О, сын мой!.. Душа человека в тесном родстве с Виновником своего бытия! Мы должны помнить об этом; мысль о *первой причине* должна быть жива в нас, и познание ее должно нас привлекать. Тогда душа наша будет в состоянии совершенства, она останется невредима, и для нее нечувствительны будут все земные обольщения...

Еще скажу тебе: кроме невещественной, божественной души, есть в человеке таинственная сила, действующая в нем, пока существует его тело. Это — *сила жизни*, дающая способность бытия вещественного. Она общая человеку и бессловесным тварям, над которыми возвышает человека только его бессмертный дух, сообщаемый ему Божеством, и которого нет у других существ!..

Велика и разнообразна эта сила в своих проявлениях. Она скрыта от людей, хотя действие ее — есть их жизнь. И вот, мы, посвященные жрецы, втайне, день за днем, год за годом, в тишине и безмолвии стремимся постигнуть ее сущность... Ты, сын мой, ты сумел передать мне и сохранить драгоценность, передать мне наследие, благодаря которому сущность жизненной силы, может быть, перестанет быть для нас неразрешимой загадкой!.. И ты хочешь отказаться от счастья быть посвященным среди непосвященных!..

Во все время своей речи Ненху-Ра постепенно одушевлялся. Несмотря на темноту ночи, взор его горел огнем; дрожащий, старческий голос окреп, и его страстное одушевление передалось мне... А его слова?.. О, как мудры, как согласны казались они мне с теми, что я тогда принимал за истину!..

Мне, Аменопису-египтянину, действительно казалось, что Великий жизнедавец Ра, окруженный солнечным сиянием, вещает мне Свои веления чрез Своего избранника... Я чувствовал, как часть моего существа, называемая душой, отделяется от тела и, вспоминая о своем первом существовании, вновь стремится в блаженное, невещественное жилище, откуда была исторгнута для земного воплощения...

А Ненху-Ра как бы забыл обо мне: взоры его были уст-

ремлены к звездному небу, руки воздеты кверху, и весь он ушел в молитвенное созерцание.

Я готов был уже воскликнуть ему:

— Отец мой, я готов следовать за тобой, ибо ты ведешь к истине!..

Но эти слова замерли в моих устах, и внезапно, огненными буквами начертанная, предстала предо мною заповедь, данная избранному народу.

— Нет, Ненху-Ра, — вскричал я, — сказал Господь Бог Израиля: «Аз есмь Господь Бог твой — да не будут тебе бози инии, разве Мене!..»

— Аз есмь Господь Бог твой — да не будут тебе бози инии разве Мене!.. — повторил за мной Ненху-Ра. — Что же, сын мой, разве говорил я тебе что-либо иное?.. Иди с миром и вдумайся в мои слова!.. На третьи сутки приходи сюда же — я покажу тебе нечто, что направит на иной путь твои мысли... Иди с миром!..

IV

Каким смущением была объята душа Аменописа по возвращении от Ненху-Ра!.. Я шел туда, надеясь положить конец моим терзаниям, и возвратился, еще более обуреваемый сомнениями... Великий жрец служил *Единому Богу!* Мог ли я допустить ранее подобную мысль!.. В чем же будет состоять мой грех, если я по-прежнему буду поклоняться Тому, Кто заповедал моему народу поклоняться Ему Единому?..

Да, но Он вместе с тем дал закон. Этот закон должен быть соблюден, ибо презренны и ненавидимы от Бога преступающие закон! Но ведь и соблюдение закона возможно, если я сделаюсь учеником Ненху-Ра... Обряд?.. Но не прав ли Ненху-Ра, говоря, что обряд — для народа, что он лишь выражает внутренний закон?..

А дивная, таинственная наука жрецов! А чудный жребий жизни и смерти, предсказанный ею мне, Аменопису...

И вот, вспомнил я, как говорил Ненху-Ра о духах, свободных от тела, возвращающихся в родную обитель, незримую и неведомую, или же витающих с надземной сфере...

Ее дух мог быть близок ко мне... Способна ли загадочная наука Ненху-Ра вызвать этот дух пред моими очами, убедить меня в его существовании?..

О, если так, то тогда она истинна! Тогда велика наука жрецов!.. Следуя ей, я буду приближаться к истине!.. Я постигну скрытое от всех, и пред моим прозревшим сознанием восстанет ее образ, с которым по воле дивной судьбы сочелась моя душа...

И чем больше я, Аменопис, мечтал о неведомом и несбыточном для людей счастья общения с отшедшей из телесного образа душой — тем с большей жадой охватывало меня желание приобрести власть знания и помощью ее подчинить себе, вызвать к земному проявлению скитавшихся в надземной сфере духов...

Закон и Давший его, заветы патриархов, судьба избранного народа — все стало казаться мне далеким и чуждым. Новый мир развертывался передо мной, и в его чудном просторе, в его непознаваемом на земле бытии мне чудилось необъятно-великое и необъятно-грозное в своей неизвестности...

Вот он — символический язык жреческой науки!.. Я уже начинал читать его...

Мои мысли давили меня, теснясь одна за другою, вызывая за собой новые мысли... Нескончаемая вереница образов, сравнений и новых образов горячила мое воображение...

Я не заметил, как, миновав бесчисленные здания храма, я вышел к первым пирамидам, принадлежавшим общественному кладбищу Мемфиса.

Черное небо уже прояснялось, окрашиваемое светлыми лучами восходившего Ра, и супруга его Изиды¹ блекла

¹ Озирис (Ра) — по понятиям египтян — бог солнца; супруга его — Изиды — богиня луны.

пред его славой. Ни одним дуновением не смущал покоя природы вечный враг могучих божеств — Тифон¹. Наступал час поклонения жрецов Ра восходящему животворному светилу².

Мемфис покоился, объятый сном. Сыпучие пески пустыни дремали в ожидании жгучих лучей «властелина земли». Я проходил мимо восточных врат Мемфиса, священного создания Менеса³. Тут стояла статуя правившего фараона Сетоса, принадлежавшего к числу учеников верховного жреца Ненху-Ра.

— Сетос — великий Сетос, посвященный во все тайны служения Озирису!..⁴ — воскликнул я в душе моей. — Ты, бывший верховным служителем Ра, ты, сам некогда изощренный в чтении звездной книги! ведомы ли тебе грядущие судьбы твои?.. Знаешь ли ты, где будет обитать дух твой, освобожденный от телесной оболочки? открыла ли тебе твоя наука будущее?

Мне, устремлявшему взоры в бездонную глубь неба, казалось, что там, в невидимых сферах, витают тьмы незримых духов, из которых каждый некогда был человеком. Там невещественная обитель, о которой вещал мне Ненху-Ра. Среди духов, отлетевших от земной сферы, парит и ее дух, зрящий меня своими бесплотными очами... Он так же близок мне в своем новом бытии...

В новом бытии!..

Но что это за бытие?..

О, какая неизмеримость отделяет меня от него, и вместе как легко, как неожиданно перейти человеку через эту

¹ Тифон — жгучий ураган Сахары, олицетворенный египтянами в злое божество.

² Служители Ра (то же, что Озирис) приветствовали восход солнца пением гимнов, прославлявших «животворное начало, дающее плодородие земле». Отсюда явились гимны пифагорейцев.

³ Менес — по преданию, первый фараон Египта, построил г. Мемфис.

⁴ Сетос (от 713 до 671 г. до Р. Х.) сделан был фараоном по выбору жрецов, к касте которой принадлежал. Это не единственный пример выбора фараона из касты жрецов, помимо прямых наследников.

неизмеримость!.. Та же участь ожидает и меня... Что сказал мне Ненху-Ра об этом новом бытии?.. Мое земное существование освящено моим сознанием; я чувствую его, я существую, потому что сознаю... Меня могут страшить и горе и муки, — но я знаю их... Там же — все неизвестно, все несоизмеримо с земным, там тайна, сокрытая от века... И что же может примирить меня с необходимостью этого перехода в неведомый мир — и немислимим сознанием образом? Что может избавить меня от страха смерти?

Учение Ненху-Ра?

Нет, оно мертво и ничего не говорит моей душе...

Так мыслил и мучился Аменопис, направляя взор свой в надзвездное, вместе живое и молчаливо-мертвое пространство.

И вот, внезапно душа моя почувствовала присутствие Его, Незримого и Всемоущего, и там, в надзвездной лазури, и здесь, везде, вокруг меня, в бытии земном.

Я вспомнил слова Ненху-Ра, произнесенные им от лица Всемоущего:

— О, сын Адама! общее между Мною и тобою суть твои молитвы ко Мне...

Я пал на колени и, воздев руки к небу, воскликнул:

— О Всемоущий, Невидимый и Незримый, но истинно Суущий!.. О Бог Израиля, грозный во гневе и великий в милости!.. Как приблизиться к Тебе? Душа моя содрогается от ужаса перейти грань земного бытия!..

И, как бы в ответ на мою молитву, издали до меня донеслись тихими, звучными аккордами слова, еще недавно переданные мне Ненху-Ра:

— Поклоняйся Мне!..

Я пошел на звук этого пения, потрясшего мою душу: жрецы Изида, в белых одеждах, занимали высокую кровлю здания и согласным пением приветствовали ожидаемое появление живительного Ра, ибо близился уже восход солнца. Долина Нила, и пески пустынь, и самый Мемфис были погружены еще во мрак, но с высоты портика видны были уже багровые лучи, первые провозвестники появления лунчезарного светила...

О, некогда, много спустя, на этом же месте гимнами встречали восход солнца другие люди, принявшее свое учение от жрецов Озириса: — то были люди, поклонявшиеся гармонии мира, стремившиеся в числах выразить сущность бытия вселенной!.. Их великий учитель Пифагор по духу своему был близок мистическому учению египетских жрецов... Теперь мне вспоминаются ясно и отчетливо эти два видения моего далекого, бесконечно далекого прошлого... И не только эти видения, но и многие другие тревожат и давят мою измученную душу...

Я обогнул восточный фасад здания и направлялся к южным воротам Мемфиса, замедляя шаг в ожидании, пока стража протяжными криками не возвестит дозволения войти в город.

В темноте, уже сереющей и полупрозрачной, я увидел фигуру, двигавшуюся ко мне по направлению от здания.

Я пригляделся ближе и узнал по одеянию одного из прислужников при священном здании.

Не меня ли он ищет, чтобы призвать к Ненху-Ра? Я приблизился к нему.

— Аменопис! — воскликнул, узнав меня, служитель, — прав был великий Ненху-Ра, сказав мне, где тебя найти... Поспеш: верховный жрец Озириса тебя ожидает!..

Внезапно было для меня это требование, — я еще не знал, убедил ли меня Ненху-Ра и что сказать ему в решительный ответ.

Но должно было повиноваться, и я последовал за служителем.

V

Ненху-Ра ожидал меня на этот раз не на кровле, как я предполагал, но во внутренних помещениях, в комнате, прилегавшей к хранилищам папирусов.

В этом обширном, увенчанном сводами, поддерживаемыми рядами колонн, помещении не было проделано окон,

и солнечные лучи никогда не озаряли его внутренности.

Высокий светильник горел посреди комнаты и мерцающим пламенем отражался на расписанных иероглифическими изображениями сводах и стенах и на барельефах колонн.

Ненху-Ра, со свитком папируса на коленях, сидел в высоком кресле, протянув руки вдоль колен. По неподвижности его можно бы было принять за мумию, приготовленную к погребению, если бы не его блестящий, огненный взор, устремленный на меня.

— Аменопис! — воскликнул он, — я не стану говорить тебе более о вере отцов твоих и законе, данном Иеговой избранному народу! Оставайся сыном Израиля и поклоняйся Богу Авраама, Исаака и Иакова!.. Но, сын мой, закон твой не запрещает и не может запретить тебе искать утешения в снедающей тебя скорби и пытливым умом проникать в тайны создания, поскольку они доступны земному пониманию...

Тяжелое бремя спало при этих словах с моей души.

— О, отец мой! — воскликнул я, — великим счастьем сочту я быть учеником твоим, но, прости меня, никто не может утешить скорби, разъедающей мою душу...

— Не говори так, Аменопис, — прервал меня Ненху-Ра, — помни: умирающий не исчезает, ибо дух его витает в незримой обители. Жизненная сила, о которой я говорил тебе, может способствовать этому духу вновь принять свою телесную оболочку... Не возражай мне, — добавил он, видя, что я пытаюсь заговорить, — я покажу тебе нечто, что убедит тебя в том, что наша наука не суетна и беспомощна. Будь внимателен и постарайся думать о той, по которой страждет твоя душа! Садись!..

Он указал мне на низкое каменное сиденье, стоявшее около его кресла.

Сесть в присутствии верховного жреца, бывшего кроме того воспитателем царствовавшего фараона и возведшего его на трон!.. Это казалось мне невозможным, ибо воспитание заставило меня усвоить многие привычки, свойственные египтянам.

— Не смущайся, Аменопис, и садись! — повторил Ненху-Ра, видя мое замешательство. — В повиновении должно выражаться наиболее уважение к старшим. Садись и думай о той, которая ближе к тебе, чем ты можешь себе вообразить!

Я повиновался и занял указанное мне место.

Ненху-Ра взял светильник и отнес его в глубину комнаты, поместив в нише, образованной сводами и колоннами. И странно, — только что он поставил светильник, как пламя, до той поры поднимавшееся высоким, длинным языком кверху, теперь склонилось, и на заднем углублении стены, находившемся от него на расстоянии трех-четырех шагов, обрисовалась дрожащая, светлая пелена.

Ненху-Ра отошел и стал позади меня.

— Смотри, Аменопис, смотри вперед и думай о том, что тебе дороже всего и что видеть ты хотел бы всей силой твоей души.

Я устремил взоры на световое изображение; мерцающие отблески играли перед моими глазами, напряженно всматривавшимися в одну точку. Чем пристальнее я смотрел, тем постепенно все более и более я чувствовал, как странное, непонятное оцепенение сковывает мой ум и мое тело.

Я не видел Ненху-Ра, но чувствовал, что он стоит близко-близко позади меня, и что какая-то непонятная сила, исходящая от него, подчиняет меня ему, отдает во власть, лишая меня моей собственной воли.

Я сознавал, что, какие бы усилия я ни употребил, мне не удастся ни встать с места, ни крикнуть, если не позволит тот, недвижимо стоящий позади меня.

Пламя светильника то разгоралось и поднималось к сводам, то низко падало. И тогда клубы дыма поднимались от чаши и застилали световой хорал стены.

Я действительно думал о ней, но ее земной образ не восставал в моем воображении: мысль моя стремилась проникнуть в незримую обитель, где теперь витал ее дух. И я, Аменопис, взывал к этому духу, моля его приблизиться ко мне, если на то дана ему власть и позволение, и поведать

мне о неведомом, таинственном бытии, испытать которое некогда надлежит и мне.

Скорбь о невозвратной потере, моя мучительная скорбь о потерянном земном счастье отлетела и расплылась пред неизмеримым величием чудной судьбы, предназначенной в удел каждому человеку.

Внутреннее созерцание, охватившее меня, захватило все мои чувства: глаза мои не видели ничего, хотя были раскрыты, слух мой, кажется, не внял бы и грому, если бы он раздался под высившимися надо мной сводами.

Но вот какое-то необъяснимое сотрясение заставило меня вздрогнуть и возвратиться к земному бытию.

— Смотри, Аменопис! — в то же время тихо, но внятно прозвучал позади меня голос Ненху-Ра, — смотри, и ты увидишь то, что должен видеть!..

Глаза мои направились к светильнику, но пламени его уже не было видно: клубы дыма застилали его и сплошной стеной стояли между ним и все еще освещенной нишей.

Но эта стена, образованная дымом, казалась мне живой: она двигалась, ее клубящиеся завитки переменили место: то подходили один к другому, то раздвигались; то они сгущались в одну плотную завесу, то казались прозрачными, освещаемые сзади мягким светом.

— Смотри, Аменопис! — еще раз прозвучал голос Ненху-Ра.

И в то же мгновение дымчатая завеса упала и облаками закружилась по полу, вплоть до моего подножия. А там своды в глубине раздвинулись и открыли за собой бесконечную даль. Знойные солнечные лучи освещали раскаленные пески пустыни, и только громада высившейся пирамиды отбрасывала трепетную тень. Освещаемые жгучим солнцем, желтели прибрежные заросли Нила, и легкий пар поднимался над водами священной реки, уносясь легкими клубами к прозрачной и тоже дрожащей синеве неба.

— Смотри, Аменопис!.. — снова прозвучал голос Ненху-Ра, но на этот раз он звучал уже хрипло, точно говоривший с трудом переводил спиравшееся в груди дыхание.

Невидимым велением взор мой снова приковался к открывшейся мне знакомой перспективе. На этот раз я увидел в тени, отбрасываемой пирамидой, дорогой мне образ, живым виденьем восставший предо мной по воле мудрого Ненху-Ра. Она стояла в той же позе, в какой видел я ее впервые. Чудные черты ее лица сияли красотой, румянец играл на смуглых щеках; обнаженные руки опущены были вдоль тела; головка грациозно склонилась на грудь. Ее зоры были опущены, и только длинные ресницы слегка вздрагивали.

Я, Аменопис, сразу схватил весь ее образ и созерцал его, полный трепетного восторга. О, как хотел я, чтобы глаза ее раскрылись и взор ее встретился с моим!..

Но — увы! — ее веки по-прежнему были опущены, и ни одна черта ее лица не дрогнула, хотя я зывал к ней всей силой моего существа!

— Ты видишь ее, Аменопис, — заговорил Ненху-Ра, — видишь такой, какой видел ты ее впервые здесь, в этой жизни! Ты не можешь увидеть ее в том бытии, в каком находится она сейчас! Но ты услышишь ее и почувствуешь! Приготовься, сын мой! Внемли, Аменопис!..

С последним словом Ненху-Ра видение исчезло, огонь светильника погас, и меня окутала тьма.

Я почувствовал холод, охватывающий мое тело. Мрак, окружавший меня, — чудилось мне, — расширяется, растет, обнимает меня со всех сторон, обращается в бесконечную, безграничную, чуждую мне бездну. В этой бездне нет ничего, я чувствую это. Она так же пуста и безгранична, как небытие...

И я уже не ощущаю своего тела: — оно исчезло, уничтожилось, и освобожденный дух мой парит свободно в бесконечной, безграничной сфере мрачной бездны...

Так вот оно — небытие! Мертвый покой, незримая и невидимая бесконечность, вечная холодная ночь, без выхода, без цели! Да и какая цель может быть у небытия?..

— Возвратись, Аменопис!.. — слабым звуком долетело до меня из глубины бездны.

И вот, я сознаю, как телесное существо мое возвращается ко мне. Тот же мрак окутывает меня, но я чувствую, что он уже не простирается в бесконечность: это мрак вещественный, а за ним скрываются своды и стены комнаты.

Оцепенение по-прежнему сковывает мои члены. Я не могу двигаться, не могу по-прежнему произнести ни слова. Но я могу ощущать, ибо чувствую себя в вещественной телесной оболочке. Я сознаю и присутствие Ненху-Ра, стоящего за мной.

Тишина и мрак не рассеиваются, и даже замерло самое биение моего сердца.

Но вот недвижимый воздух как бы заколебался, и легкое, едва ощутимое, прохладное дуновение коснулось меня...

Что это?..

Или струя извне прорвалась в замкнутую каменную твердыню?..

Нет!.. Трепет охватил меня при этом незримом прикосновении, а тело мое содрогнулось от холодного дыхания...

Но только тело: душа почувствовала неизъяснимое блаженство и отозвалась на призыв...

Снова коснулось меня холодное дуновение, снова содрогнулось мое тело, и слабый, как бы из отдаления донесшийся до меня шепот коснулся моего слуха.

— Я возвращусь к тебе, мой Аменопис!.. Мрак смерти окутает тебя, и когда вновь душа твоя возвратится к земному бытию, ты увидишь меня еще более прекрасною, чем видел раньше!..

Холодное дуновение коснулось уст моих, и все вокруг меня снова погрузилось в тишину и безмолвие.

Светильник возжегся и смутно озарил своды и стены. Ненху-Ра стоял около меня, и я чувствовал, что снова стал тем же Аменописом, каким был до появления дивных видений, вызванных таинственной силой умудренного недоступными знаниями верховного жреца.

Он глядел на меня с кроткой полуулыбкой, слегка подернувшей его сухие старческие губы.

— Что скажешь ты, Аменопис? — проговорил он. — Не согласишься ли ты с тем, что наша наука — не пустой звук,

и что она способна была дать утешение твоему страждущему сердцу?.. Вспомни: твоя душа витала в незримой обители... Что скажешь ты, Аменопис?..

Что мог сказать я?.. Мое тело ослабело, и усталость смежала мои веки. Действительно, правду вещало мне — мнил я — предвешание Ненху-Ра.

Так объяснил я тогда, вместе с мудрым Ненху-Ра, предсказание судьбы и бывшим со мной видением объяснил его исполнение.

О, как ошибались оба мы — и мудрый Ненху-Ра и непросвещенный светом знания юный и полный жизни Аменопис!..

Иное исполнение суждено было дивному предсказанию... И оно исполнилось, исполнилось как и все, предназначенное человеку велениями неисповедимых судеб!..

— Что могу сказать я, отец мой? — отвечивал я старцу. — Я знаю теперь, что жива ее душа...

— И что она вновь явится в телесном образе, как обещала тебе, ибо духи не лгут! — добавил Ненху-Ра. — Но ты устал, сын мой, и отдых нужен твоим силам. Когда живой сон подкрепит тебя, я приду к тебе, и ты увидишь далекую будущность, предстоящую тебе, донныне сокрытую даже и от моих взоров. Следуй за мной, Аменопис!..

Я пошел за Ненху-Ра, едва двигаясь от усталости и всем телом ощущая потребность отдыха.

Ненху-Ра провел меня скрытыми переходами в каменную катакомбу, предназначенную, вероятно, для того, чтобы со временем служить усыпальницей кому-либо из жрецов, ибо посреди нее высился изваянный из гранита саркофаг.

Так показалось тогда с первого взгляда мне, Аменопису, и слова Ненху-Ра подтвердили мою догадку.

— Здесь никто не потревожит тебя, Аменопис, — сказал жрец: — это место предназначено для того, чтобы надолго, если не навсегда, сокрыть мое тело, после того как дух мой отлетит от него... Спи покойно, сын мой; я возведу тебе час, когда надлежит тебе восстать и сделаться сви-

детелем новых дивных видений, в которых начертается предстоящая тебе судьба!..

И Ненху-Ра удалился.

Я бросился на каменное ложе, и крепкий сон сковал мне вежды.

О, если б мог я знать, чем послужит для меня эта гробница, если бы я мог предполагать, что она надолго делается нерасторгаемой тюрьмой моего тела и местом мучения для моего духа!..

Но и ближайшее будущее часто скрыто от глаз человека... И Аменопис сладким сном забылся на ложе, которое должно было послужить в скором времени гробницей для верховного жреца, могущественного Ненху-Ра.

Захлопнулась каменная глыба, служившая дверью, скрылся мерцавший светоч, и все погрузилось в тишину и безмолвие...



VI

Я спал тяжелым, странным сном... Как будто меня поглотила глубокая бездна, и тьма охватила меня... Я погружаюсь, лечу, несусь со сказочной быстротой, а тьма захватывает меня и давит железными объятиями... Я задыхаюсь; грудь моя судорожно поднимается; я хочу крикнуть и не могу...

Страх, подобный чудовищному кошмару, охватывает меня; тьма нависает, черным покровом надвигается на меня, — и вдруг, с последним содроганием, я чувствую, как душа моя отделяется от тела... Она снова, как тогда, в видениях, вызванных Ненху-Ра, парит в мертвом холодном мраке, но парит уже свободно, не связанная с телом...

Холодная тьма окружает ее...

И вдруг тьма осветилась... Яркий, до боли в глазах яркий солнечный свет... Горячие лучи так и пронизывают воздух; но они не согревают меня, не доходят до меня...

Развертывается голая, пустынная равнина, кое-где перерезанная песчаными холмами...

Ветер не колыхнет стеблей пересохшей, местами поднимающейся травы, и знойный покров навис над пустыней.

Я — или мой дух — взирал на эту картину, напоминавшую что-то знакомое...

Но вот спокойная гладь горизонта замутилась клубами пыли... С юга двигалась стройная рать, блистая вооружением, сверкая копьями!..

Я с удивлением взирал на эту рать: ее вооружение было не похоже на когда-либо виденное мною, ибо воины были закованы с головы до ног в железные доспехи...

Стройно, в порядке двигалась рать, и тучи песка, подобно дыму, окутывали ее со всех сторон...

Но вот и от востока задымилась пустыня, и оттуда сверкнуло оружие: навстречу первой двигалась другая рать, и ее доспехи, ее вооружение были более знакомы египтянину.

Ближе и ближе сходились клубы пыли, — одна на другую двигались враждебные стороны и, подобно урагану, сошлись на пустынной равнине...

Все смешалось в диком хаосе сечи, но ни один звук не нарушал безмолвия; падали люди и кони, отряды воинов переносились с места на место, песок вздымался тучами и красным светом окрашивал солнечные лучи...

Восточная рать уступала: местами воины в сверкающих доспехах уже прорывали ряды прикрытых кольчугами воинов и вносили в их среду смерть и опустошение...

Два витязя выделялись из всех: ярко горели их брони, высоко вздымались окровавленные мечи и их разъяренные, покрытые потом и пеной кони победно носили их из конца в конец...

Моя душа как бы приковалась к этим воинам и с трепетом следила за ними...

Дрогнула восточная рать и побежала...

О, что это было за дикое, беспорядочное бегство!.. Какое страшное преследование!..

Всюду, по всей равнине рассеялись бегущие и везде настигали их и поражали закованные в блестящие панцири воины!..

Солнце уже близилось к закату, равнина темнела, но два воина, к которым прикована была моя душа, виднелись далеко впереди, преследуя бегущих, и по-прежнему неумоимо разили их победные мечи...

Как вдруг, в мгновение ока, высокий витязь с львиной шкурой на плечах поверх панциря, с медным сияющим щитом, внезапно обернулся и ударом палицы поразил одного из витязей... Неустрашимый воин зашатался и пал из седла на землю... Пал и поразивший его от удара меча другого воина, тотчас склонившегося к своему товарищу.

Прошла секунда, — и вот я, или дух мой, Аменописа, узрел нечто дивное: железная броня, прикрывавшая лица обоих витязей — лежавшего и склонившегося над ним, поднялась и открыла лица Аменописа и ее, Ревекки!..

Лежавший был я, Аменопис... Склонившийся витязь она — Ревекка!..

Лицо лежащего витязя было смертельно бледно, и глаза закрыты... Тщетно усиливался его товарищ вдохнуть в него жизнь, тщетно устремлял на него полные тоски и мольбы взоры!..

Недвижимо лежал мой двойник... Но тут сзади склоненной к нему фигуры витязя-женщины, паря над землей, освещенной лучами солнца сверху, и окутанный поднимавшейся от земли мглой, явился в дивном видении близкий и дорогой Аменопису образ: она, в железе и стали, склонилась над умирающим, и она же, она, но такою, какой знал ее Аменопис, парила в видении!..

И лицо умиравшего витязя вспыхнуло румянцем жизни... Взор его открылся... Но в то же время картина задержнулась и покрылась мраком...

Я ощутил присутствие моего тела и уже как-то странно, но сознавал, что сплю, сплю глубоким сном...

И во время этого сна я пытаюсь объяснить себе дивные видения, представшие моему оторванному от тела духу —

пытаюсь и не могу: сон сковывает меня, ум отказывается мыслить, и власть над собой отнимается.



...Явился в дивном видении близкий и дорогой Аменопису образ...

Я чувствую, как холодный липкий пот покрывает мой лоб, грудь тяжело вздымается, я хочу проснуться — и не могу...

Меня тянет куда-то далеко, в непроглядную тьму, и я ухожу в нее, влекомый неведомою силой. И вдруг тьма осветилась... Из ее глубины доходит до меня слабое сиянье... Ко мне идет — нет, плывет, несется женская фигура с распущенными черными волосами, с закрытыми глазами...

Я узнаю ее: то *она*, в непостижимых видениях дивным образом являющаяся мне...

Но вид ее поражает, пугает мою душу: мертвенная бледность покрывает черты ее лица, и страшен вид ее полузакрытых, недвижных глаз...

— О свет души моей!.. — пытаюсь я воскликнуть, — зачем так страшно, так загадочно вперяется в меня твой взор?..

И видение отвечает мне: оно проносится надо мной, и до слуха моего доносится невыразимо-гармоничный голос:

— Аменопис!.. Время настало!.. Вставай!..

— Аменопис!.. Восстань!.. — снова раздается голос, но уже не ее.

Я открываю отяжелевшие веки, но все еще не могу дать себе отчета — где кончается сон и где начинается действительность... Светоч слабым светом озаряет усыпальницу и падает на лицо стоящего надо мною Ненху-Ра...

Но что это за лицо!.. Я узнаю его, но как страшно, непостижимо оно изменилось!.. Блестящие глаза ушли далеко вглубь, черты обострились, и, вместо спокойной величавости, ужас, смертный ужас напечатлелся на лице верховного жреца жизнедавца Ра!..

Я поднялся с ложа и, наполовину не давая еще себе отчета, где сон, где действительность, в крайнем сожалении взираю на Ненху-Ра.

— О Аменопис! — вскричал верховный жрец, — я видел ее, видел и чувствую!..

Ужас звучал в голосе старца, — тот же ужас, который был напечатлен и на каждой черте его лица.

— Кого видел ты, отец мой? — едва мог я произнести от изумления.

— Смерть!..

Ненху-Ра опустил на край каменного саркофага и закрыл лицо руками, как бы стараясь укрыться от грозного, невидимого мне призрака.

Мгновенный ужас, обуявший Ненху-Ра, сообщился и мне: в полутрепетном свете могильного склепа, в переливах

огненного языка, вздымавшегося из чаши светильника, в полутемном пространстве мне чудился тот же страшный, неведомый призрак, и казалось, что его образ, почти вещественный, окутанный в белые, широкие покровы, подобно труп, предназначенному для бальзамирования, восстает и близится к нам, заставляя содрогаться тело и холодом наполняя душу...

А Ненху-Ра, с закрытым лицом, все недвижимо сидел на краю приготовленного для его тела саркофага... Я видел, как пот смачивал пряди седых волос, стиснутых между скрюченными пальцами, как ниже и ниже клонила его голова, бессильно падая на хладевшие руки...

А *тот*, в белых трупных одеждах, в образе человека, но с прикрытым белым же покрывалом лицом, надвигался на нас все ближе и ближе...

Я схватил Ненху-Ра за плечо...

Ощущение человеческого тела, присутствие живого человека возвратило мне самообладание: я видел теперь перед собой только пораженного ужасом старика, и таинственный призрак в белых одеждах уже не пугал моего воображения.

Видимо, и Ненху-Ра немного пришел в себя от моего прикосновения.

Он поднял голову и устремил на меня мутный взгляд.

— Отец мой, — проговорил я, — здесь душно, выйдем на свежий воздух!..

— Выйдем!.. — со стоном скорее прошептал, чем сказал Ненху-Ра, — мы никогда не выйдем отсюда...

— Ненху-Ра потерял рассудок! — такова была моя первая догадка.

Но нет, в омраченном взоре, устремленном на меня, светила живая мысль. Только ужас омрачал этот взор и не позволял могучему уму придти в себя.

Но воля мало-помалу возвращалась к Ненху-Ра, и взор его прояснялся.

— Аменопис, — тихим голосом произнес он, — не там, не тогда, а теперь должен исполниться твой чудный жребий... Вспомни, что сулила тебе твоя звезда: в ней жизнь и смерть, дивным образом соединенные вместе... Но жизнь в

ней сильнее смерти, и из объятий мрачного призрака ты выйдешь более сильным и более жизненным, чем теперь... Но я не завидую тебе, Аменопис!..

Ненху-Ра снова опустил голову на руки, а я почувствовал, как холодный трепет прошел чрез все существо мое: Ненху-Ра говорил не только о себе, но и обо мне!.. Его видение, смерть, являвшаяся ему, и ко мне протягивала свои объятия!..

Еще немного времени тому назад дух мой стремился в незримую обитель, где витал неземной образ ее, манивший меня к себе!..

И как жаждал я перенестись в эту новую сферу!.. Но вот — час настал, и смущение, и страх, и трепет объемлют меня!..

— Что говоришь ты, отец мой? — воскликнул я, — почему не хочешь ты последовать моему совету и выйти отсюда?..

— Увы, Аменопис! — отвечал Ненху-Ра, поднимаясь с места и жестом руки указывая мне на каменную стену: — как хочешь ты выйти отсюда?..

Я посмотрел по направлению, указанному Ненху-Ра, и смутно припомнил, что здесь должна была находиться дверь, через которую мы проникли в усыпальницу.

Но теперь взгляду моему представлялась лишь сплошная массивная стена.

— Что случилось, отец мой? — с тревогой спросил я.

— Знаешь ли ты, Аменопис, — с грустью проговорил Ненху-Ра, — что по обычаю тела фараонов и верховных жрецов должны сохраняться в неприкосновенности, никем не тревожимые и не оскверняемые, дабы мог возвратиться в них вновь дух, оторванный от них тем, что мы называем смертью?

— Мне известно это, отец мой!

— Также должно быть тебе известно и то, что первой заботой фараона и верховного жреца должна быть забота о приготовлении себе скрытого и недоступного времени телохранилища. И я когда-то, в первые годы моего служения, предавался этой суетной заботе. В скрытых твердых хра-

ма я тайно приготовил саркофаг, куда скрытно должно было быть положено мое тело после смерти... Тут же, рядом, находится и хранилище папирусов, к которым только я имел доступ... Ты, Аменопис, теперь находишься здесь, в саркофаге верховного жреца!..

— Я знал это, отец мой! — отвечал я, все еще не понимая, в чем дело.

— Но, Аменопис, нам обоим не суждено выйти отсюда!.. — вскричал Ненху-Ра. — Только одному человеку известно место, приготовленное мною для моего тела, и только ему одному известен способ, которым можно проникнуть сюда! Отсюда, изнутри, никак нельзя поднять каменную глыбу, служащую дверью и внезапно опустившуюся за мной!.. Мы погребены, сын мой, мы живые мертвецы!..

И Ненху-Ра снова простер руку к тому месту, где находилось входное отверстие, теперь наглухо закрытое каменной твердыней.

Теперь я понял, в чем дело. Но вначале страх не потряс моего юного сердца так, как отразился он в много претерпевшей душе великого Ненху-Ра.

— Ты говоришь, отец мой, — возразил я, — что есть человек, которому известен вход в приготовленный тобою склеп?

— О, сын мой, — с горькой улыбкой отвечал Ненху-Ра, — ко всему, что служит людям наслаждением в земном существовании, ко всему примешивается горечь отравы — ты знаешь меня, как верховного жреца, ты видишь почет, которым окружен я в глазах народа, ты уверен в том уважении, которое питают ко мне подчиненные мне жрецы!.. Но, сын мой, каждый из них считает себя достойным занять место верховного служителя Ра!.. И человек, которому известно место, предназначенное для упокоения моего тела, более всех рассчитывает заместить меня!.. Скажи же, сын мой, какая цель ему открыть место, где против моей воли — и, может быть, даже согласно его желанию, я скрылся навеки от мира?.. О, я знаю, как объяснит он мое исчезновение!.. Он скажет, что великий Ненху-Ра взят Озирисом и вместе с собою взял своего излюбленного ученика!.. Нет,

Аменопис, нам нет выхода отсюда!.. Да совершится воля Всесоздавшего!..

Замолчал Ненху-Ра и с грустью поник убитой сединами головой, с покорностью принимая выпавший на его долю рок.

— Позволь, отец, — перебил я его, — прежде чем отчаяние вселится в наши сердца — попытаемся устранить твердыню, отделяющую нас от мира!..

Вместе с этими словами я устремился к закрывавшей выход каменной глыбе, и живая надежда сразу завладела всем моим существом.

— Я молод! — воскликнул я, — я силен!.. Мужайся, Ненху-Ра!..

Первый раз, под влиянием обстоятельств и охватившего меня оживления, назвал я верховного жреца так непочтительно, одним именем, не присоединив к нему титула «отец», которым должно было величать каждого из жрецов, не говоря уже про верховного служителя Жизнедавца Ра.

— Остановись, Аменопис!.. — еще с большей грустью проговорил Ненху-Ра, подходя ко мне и взяв меня за плечо: — ни сила твоя, ни воля не помогут!.. Я, Ненху-Ра, я сам построил эту твердыню, я приспособил механизм, замыкающий двери — и я скажу тебе, что никакая человеческая сила не выведет нас отсюда!..

Точно удар поразили меня эти слова, дух мой погрузился в уныние, и в полном бессилии отчаяния склонился я к ногам старца, и горькие рыдания потрясли мою грудь...

А как недавно еще стремился я в обитель незримых духов, как хотел перейти грань, отделяющую земное от неземного, как жаждал разгадать великую тайну, заключающуюся в слове «смерть»!..

И вот, теперь, когда этот переход стал неизбежен и необходим, когда я сознавал, что мои усилия не могут отвлечь этого неизбежного исхода — все существо мое охватило одно всепоглощающее чувство «страха смерти» и одна безумная жажда земного бытия!..

О, незабвенные мгновения!.. И сейчас готовлюсь я перейти ту же грань, как и столетия, долгие столетия тому назад!..

«Страх смерти» и теперь пугает мое воображение... Но у меня, в моей утомленной земным бытием душе, живой надеждой горит вера в милосердного, всепрощающего Бога, с любовью принимающего в горную обитель очищенную покаянием душу!.. Для меня кротким сиянием горит и озаряет светом мрак смерти дивный лик Распятого, Своею волею воплотившего и Своим страданием явившего миру с высоты креста образ любви!..

Но тогда?.. Только неведомое и страшное мнилось мне в новом, грядущем ко мне, и в одном ужасном кошмаре сливались передо мною и жизнь, и смерть, и мучительное расставание с телесным бытием!..

Не было передо мной яркого светоча надежды, и холодным, непроглядным мраком окутана была передо мной неизвестная, таинственная область, открываемая смертью!..

Я жаждал услышать слово ободрения, слово надежды, и в смертельном томлении обнимал колена мудрого старца...

Я не понимал тогда и не сознавал, что сам Ненху-Ра переживал страшное мгновение; что одно мимолетное, холодное дыхание смерти сразу обратило в ничто и его нечеловеческую мудрость, и его дивную власть над людьми, и самое горделивое сознание своей силы, выделявшее его, даже в его собственных глазах, из ряда других людей... Я не понимал, что сам Ненху-Ра готов был в это мгновение пасть от ужаса и умолять о помощи!..

Но самообладания было в нем больше, чем во мне: он положил руку на мою голову, проведя ею по моим волосам, и я почувствовал, как возвращается ко мне утраченное мужество.

— Успокойся, Аменопис, успокойся, сын мой! — мягко и нежно проговорил он. — Для тебя еще далек час, неизбежный каждому человеку!.. Ты сам способствовал тому, что теперь тебе не грозит страшный призрак смерти, неотступно стоящий передо мной и зовущий меня к себе!..

Сердце мое ожило: слова Ненху-Ра влили в него новую надежду. Что бы ни было дальше, но не сейчас, не теперь настанет ужасная минута!..

О, впоследствии, много спустя, я видел, как люди, в последнем ожидании конца своего земного бытия, всей волей своего последнего страдания силились отдалить хотя на миг неизбежную разлуку!.. Как дорог, как желанен был для них этот миг, как много сулил им!.. Малодушием называли этот все захватывающий страх смерти! Но нет!.. То не были малодушие: то был ужас пред неизвестностью, ибо что может быть ужаснее неизвестности?.. Спокойно и в надежде на новое бытие встречали смерть только твердо верившие и много возлюбившие!.. Ибо вера их открывала им непознаваемое, она была для уповаемых извещением, ибо любовь их одухотворяла их веру!..

И я, Аменопис, возрадовался, услыша, что далек от меня ужасный миг!..

Но тут же обуял меня и трепет сомнения: если мне не суждено быть заживо погребенным в этом телохранилище, то почему же должен погибнуть сам Ненху-Ра?

И я, содрогаясь от ожидания, воскликнул:

— Ненху-Ра! Тщетны твои утешения! Как то может быть, чтобы участь, тебе предстоящая, пощадила меня, когда сам ты говоришь, что никакие человеческие силы не могут нас уже спасти?..

— Ты — и я, Аменопис! — отвечал, с грустью взирая на меня, Ненху-Ра. — О, Аменопис, какая большая разница между мною и тобою!.. Я не могу избавить тебя от будущего, предназначенного тебе судьбой, но отдалить от тебя скорый призрак смерти — в моей власти!..

И снова холод страха обуял меня. Я уже не верил словам жреца: он мог отдалить от меня призрак смерти!.. Может быть!.. Но надолго ли?..

Еще секунду тому назад я готов был молить хотя бы об одном мгновении отсрочки, а теперь я уже задавал себе вопрос: надолго ли?

И я повторил этот вопрос Ненху-Ра.

Горько улыбнулся в ответ мне старец и заговорил со скорбью в голосе:

— Что значит скоро и долго, Аменопис? Если я скажу тебе, что долгие столетия протекут, прежде чем коснется тебя дыхание смерти, — будешь ли ты доволен?

— Конечно, отец мой!

— А если я скажу тебе, что после столетий твоего земного существования раскроется бесконечность, чтобы принять дух твой для нескончаемого мучения?..

— Но то... то, отец мой, будет еще не скоро!..

— Не скоро?.. Не скоро в сравнении с вечностью?.. Успокойся же, Аменопис! Повторяю — я не могу вывести тебя из приготовленной для моего брэнного тела твердыни — но ты будешь жить, будешь жить долго!.. Взгляни!..

Ненху-Ра достал из складок своего одеяния сосуд финикийского сплава и показал его мне.

— Знаешь ли ты, Аменопис, что заключается в этом сосуде?..

— Откуда я могу знать это, отец мой?

— Правда твоя, а между тем сам ты, по воле судьбы, способствовал тому, что теперь в моей власти избавить тебя от так страшющего тебя перехода от земного бытия к бесконечности!.. В папирусе, который ты передал мне, заключалась великая тайна сохранения жизненной силы в веществе, составляющем то, что мы называем телом. И здесь, в этом сосуде, заключается эликсир жизни... Ты примешь его, Аменопис, и ты будешь жив, будешь жив, несмотря ни на что!..

Какая радость охватила меня при этих словах! Теперь я уже верил Ненху-Ра, верил всецело!

Однако, еще одно сомнение восстало передо мной.

— Отчего же, отец мой, — с почтением спросил я, — сам ты не хочешь прибегнуть к этому чудодейственному средству?..

— Именно не хочу, сын мой, хотя в то же время и не могу... Но если бы и мог... Впрочем, не знаю, что было бы, если б я действительно мог, подобно тебе!.. Но знай: чудный эликсир не в состоянии возобновить уже изжитой жиз-

ненной силы! Он может надолго удержать ее в теле — и только! Но как можно удержать то, чего уже нет?.. Я стар, сын мой, и мал уже во мне, ничтожен остаток той жизненной силы, о которой я говорил тебе, как о силе, отдельной от невещественного начала, но тоже дивной и служащей причиной бытия вещественного!.. Я мог бы удержать этот остаток, но — слабо горит лампада, в которой иссякло масло!..

Ненху-Ра присел на край саркофага. Я видел, как тень легла на его лицо, и как черты его обострились.

Не смерть ли налагает на него свою руку?

Страх охватил меня, но к этому страху не примешивалось сожаления и скорби по отходившем к вечному покою старце: нет, я боялся только, что его уста навеки сомкнутся прежде, нежели откроют мне способ употребления драгоценного эликсира.

Ненху-Ра взглянул на меня — и, видимо, постиг причину моего страха.

Горькая улыбка снова пробежала по его губам.

— Правду говорю тебе, Аменопис, — воскликнул он, — никого не любит человек более себя!.. Но так и должно быть!..

«Так и должно быть!..» И я соглашался со словами мудрого старца!.. Но прошли века — и дана была новая заповедь!.. Заповедь возлюбить Всесоздавшего более себя и ближнего, как самого себя!..

— Возьми, Аменопис, — и Ненху-Ра протянул мне сосуд, — возьми и выпей треть содержимого!.. Одну треть, Аменопис, не больше!..

В волнении принял я драгоценный сосуд, поднес его к губам и сделал глоток.

Мне казалось, что густая, тягучая жидкость огнем разольется по моим жилам и, подобно старому, крепкому фригийскому вину, сразу придаст необычную бодрость и силу моему телу.

Но ничего подобного не было: я сделал глоток, не почувствовав ничего, и готовился уже его повторить, как меня остановил голос Ненху-Ра:

— Довольно, Аменопис! Помни, что огонь дает жизнь и силу, но что тот же огонь и разрушает!..

Я передал сосуд старцу, снова спрятавшему его в складках своей одежды.

— Будь счастлив, Аменопис! — торжественно произнес Ненху-Ра, — этого желает тебе стоящий на пороге вечности слугитель Жизнедавца Ра!.. Твое вещественное бытие отныне продолжено на долгие, долгие годы!.. Да не будет же оно тебе в тягость!..

О, не напиток, мною воспринятый, но крылатая надежда вдохнула в меня бодрость и силу!.. Я снова ожил, я был уверен, что раскроются громадные стены, и снова представит предо мною чудная природа, озаренная яркими лучами живительного света, сниспосылаемого Жизнедавцем Ра!..

Ум мой, скованный ужасом, снова начал действовать.

Я был уже уверен в том, что далек от меня таинственный призрак, глядевший в очи сидевшему передо мной старцу, и моя мысль приняла обычное направление.

— Хорошо, — думал я, — мое вещественное существование сохранится надолго, но при условии, чтобы мое тело питалось и согревалось солнечным светом, чтобы грудь моя вдыхала свежий ветер... Но здесь, в этой гробнице, я лишен всего!..

— Отец мой! — позвал я Ненху-Ра.

Старец приподнял голову, и еще яснее увидел я мрачные тени, покрывавшие его лицо...

— Отец мой! — с тревогой повторил я, — жизненная сила не покинет ли меня, если тело мое будет лишено пищи, питья и дыхания?..

— Нет, Аменопис, не покинет, — она замрет!.. Вот зерна пшеницы — они лежат, не прорастая... Но погибли ли они?.. Нет! Брось их во влажную почву — и они дадут из себя растение! Все та же жизненная сила, все та же, Аменопис, и в них и в тебе! Твое тело замрет, потому что нельзя будет проявиться жизненной силе... Но оно оживет, выйдя на свет, проливаемый на земле Великим Ра!..

«Замрет, подобно зерну — и вновь прорастет, — в этом ли исполнится начертанное для меня предсказание?..»

Но тут предстал предо мной новый вопрос, и я снова обратился к Ненху-Ра.

— Отец мой! — сказал я, — но суждено ли мне выйти отсюда?..

Я предложил этот вопрос и замер в ожидании ответа.

— Кто скажет тебе, что будет с тобой через минуту, Аменопис?.. — воскликнуть Ненху-Ра. — Нам, знающим связь, соединяющую небесные сферы с земной жизнью, в туманных образах является будущее человека... Это правда, и это так, Аменопис... Но не всегда в точности разбираем мы письма, начертанные судьбой... Однако, я думаю... я знаю, Аменопис, ты выйдешь отсюда!.. Выйдешь, я вижу это!.. .

Восставший было со своего каменного ложа, старец с последними словами вновь в бессилии опустился на него. Голова его склонилась, и туловище упало в углубление каменного саркофага.

Я бросился к нему, опять с ужасом, ибо увидел, что час его пробил.

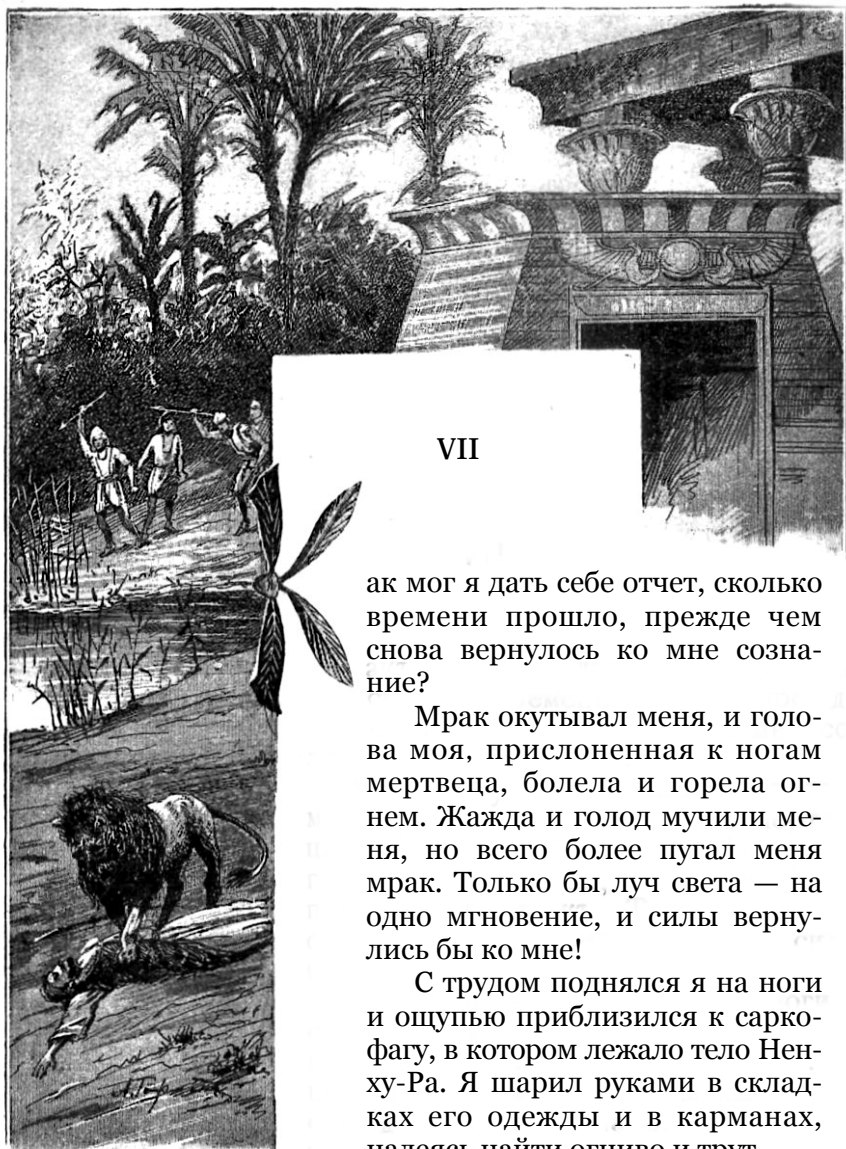
Легкая судорога пробежала по исхудалому, хрупкому телу; искаженные было мгновенным страданием черты лица прояснились и приняли покойное, величаво-важное выражение навсегда сохраненной тайны...

Ненху-Ра был мертв.

Светильник, вспыхнув последним пламенем, погас, и в глубокой тьме остался я, Аменопис, заживо погребенный наедине с мертвецом!..

Голова моя закружилась, и я пал к ногам мертвеца...

Дух мой затемнился, и сознание меня покинуло.



VII

ак мог я дать себе отчет, сколько времени прошло, прежде чем снова вернулось ко мне сознание?

Мрак окутывал меня, и голова моя, прислоненная к ногам мертвеца, болела и горела огнем. Жажда и голод мучили меня, но всего более пугал меня мрак. Только бы луч света — на одно мгновение, и силы вернулись бы ко мне!

С трудом поднялся я на ноги и ощупью приблизился к саркофагу, в котором лежало тело Ненху-Ра. Я шарил руками в складках его одежды и в карманах, надеясь найти огниво и трут.

После долгих поисков, пугаясь невольно всякого прикосновения к мертвецу, я отыскал, наконец, нужные предметы. Но что зажечь мне?..

Светильник погас, и у меня не было масла, чтобы вновь подлить в него.

Я оторвал край моей одежды и сделал из него светильню, расщипав материю на волокна и вновь свив их вместе.

Я работал в темноте, и дело шло медленно, жажда томила меня все более и более и вместе с тем, к ужасу моему, я стал замечать, что и дышать становится мне все труднее и труднее, так как гробница была отрезана от всякого сообщения с наружным воздухом.

О, неужели же меня обманул Ненху-Ра?..

Но с какою целью?..

Может быть, он, хотя и не мог избавить меня от самой смерти, но хотел отогнать от меня страх ее, который во сто крат ужаснее самой смерти!..

Леденящим ужасом наполняли мою душу эти мысли, но я, обливаясь холодным потом, жадно вдыхая пересохшими губами последние остатки воздуха, поспешно продолжал свою работу.

Света, более всего хотел я теперь света!..

Наконец, факел-светильня был готов, я поднялся с пола и, сняв чашу со светильника, обмочил и пропитал остатками масла приготовленный мною светоч.

С трепетом ударил я огниво, раздул трут и с невыразимым восторгом увидел слабое мерцание моего факела!..

Новые силы влились в меня, и я вновь стал надеяться.

Тело Ненху-Ра лежало поперек саркофага. Его лицо уже потемнело, и весь он заостенел.

Я поднял его и положил на дно саркофага так, как должно было согласно обряду и обычаю.

Но что я буду делать с трупом Ненху-Ра? Я не умел баловать тела, да у меня и не было нужных веществ... Скоро труп предается разложению. Не только тело Ненху-Ра не будет сохранено по египетскому обычаю, но и мне, заключенному вместе с мертвецом, придется вдыхать злобное.

Я попытался было поднять высеченную из одного громадного камня крышу саркофага, чтобы закрыть его труп, но это оказалось невозможным, так как не хватило бы силы и четырех человек, чтобы сдвинуть с места эту громаду.

Тут я вспомнил, как Ненху-Ра говорил мне, что рядом с гробницей находится хранилище папирусов, которых не должна была касаться ничья рука, кроме руки верховного жреца.

При тусклом свете моего светильника я обошел гробницу и нашел проход в соседнее помещение, узкое и высокое, сверху донизу покрытое каменными полками, на которых рядами лежали тысячи свитков папируса.

Радостью наполнилось мое сердце при виде множества этих свитков: я верил словам Ненху-Ра, что не погибну от жажды и голода, что долгие годы могу провести в гробнице, но меня пугала темнота, которая должна была меня окружать безысходно.

Свитки папирусов представляли собой великолепные факелы — они будут гореть ярко и их хватит надолго!..

Такова была моя первая мысль при виде этого драгоценного книгохранилища!.. А еще как недавно с восторгом и замиранием сердца прикоснулся бы я к этим древним папирусам, чтобы почерпнуть из них мудрость таинственной науки!..

А теперь я видел в них только материал, который должен был служить лишь для того, чтобы на долгое время дать мне возможность видеть во мраке!..

Но все же я с трепетом прикоснулся к первому из папирусов и, развернув его, углубился в чтение, пользуясь слабым мерцанием мною самим сделанного факела.

Свиток заключал в себе науку измерения. Чем дольше читал я, тем с большим и большим изумлением замечал, как мало-помалу утихала мучавшая меня жажда. Чудный эликсир Ненху-Ра начинал действовать. Для меня надолго не нужны ни пища, ни питье, — я спасен!..

Я оторвался от чтения и, пав на колена, воздел руки и из глубины сердца принес благодарение Все-создавшему.

Молитва еще более подкрепила меня, и я почувствовал, что я не одинок, ибо во мне самом жило божественное начало, и если тело мое было заключено в этой каменной твердыне, то дух мой мог парить в бесконечность!..

О, как сладостна была для меня эта уверенность!.. Я считал уже себя свободным, выходящим отсюда, ибо я верил и надеялся!

Я снова принялся за чтение. И тут еще большее удивление поразило меня: ум мой сразу усваивал, без всякого напряжения, то, что прежде потребовало бы от меня многих усилий!.. Законы линий и их сочетаний, непреложные истины науки измерения, одна из другой вытекавшие и подкреплявшие одна другую — все так просто, так ясно укладывалось в моем просветленном сознании.

Факел мой догорал, когда я прочел последние начертания папируса. Я поднялся и, приложив свиток к огню, зажег его.

Мне не придется перечитать его вторично — но это не пугало меня: я сразу запомнил все, что он содержал в себе...

С горящим папирусом в руках взошел я в усыпальницу Ненху-Ра. Тут я заметил к удивлению, что дышать становилось мне гораздо труднее: из книгохранилища, как предположил я, шел какой-либо потаенный ход наружу, и оттуда притекал свежий воздух.

Внимательно осмотрел я каждую полку, заваленную папирусами, и действительно нашел, что в каменных стенах просверлены были круглые отверстия, через которые врывались воздушные струи.

Я снова вернулся к Ненху-Ра. Лицо его и руки потемнели еще более. Склонившись к нему, я с тревогой старался обонять начавшееся разложение.

Но то было тщетно: я обонял лишь резкий запах специй, которыми заранее была уснащена внутренность саркофага.

Между тем, по моим расчетам, уже не одни сутки должны были пройти с того времени, как Ненху-Ра кончил свое земное существование.

Неужели труп его сохранится, подобно мумии?

Чем же объяснить подобное явление?

Суеверный ужас охватил меня: в брненное тело Ненху-Ра, по учению жрецов, должна некогда возвратиться его душа и найти в целости свое обиталище... Верховный жрец

лишен бальзамирования, но какой-то дивной, таинственной силой тело его сохранено от общего для всякого вещества разложения!..

Так суеверно мыслил я, Аменопис, в то время и со страхом взирал на лицо мертвеца.

Но не специи ли, которыми умащена внутренность саркофага, временно предохраняют от гниения бранные останки Ненху-Ра?

Эта догадка ободрила меня, показавшись мне похожей на истину.

Кроме того, я ощущал, что воздух гробницы был жгуч и сух, и что в самой гробнице факел мой горел тускло и дымился, разгораясь, когда я переходил в книгохранилище.

Я знал, что в сухом воздухе пустыни, под дуновением горячего ветра, трупы и мясо животных также не поддаются гниению и засыхают, не портясь.

Эти предположения рассеяли вполне мой страх, и я решился погасить факел: мне ведь надлежало при свете его прочесть еще следующий свиток и сохранить в памяти содержащееся в нем, прежде чем обратить его в пепел.

Погасивши огонь, я лег на каменный пол гробницы, ибо в узком пространстве книгохранилища мне нельзя было свободно протянуть моего тела.

Я старался заснуть, чтобы подкрепить мои силы и вновь восстать бодрым и крепким, хотя не телом, но духом.

Но сон не приходил. Временами лишь мое сознание мутилось и меня охватывало забытие, без грез и сновидений.

Как долго продолжалось каждое такое забытие?..

Я не знал, ибо, лежа с закрытыми глазами, тщетно старался придумать способ, которым мог бы измерять время.

Неужели же долгая, по земному понятно граничащая с бесконечностью жизнь, данная мне по воле Ненху-Ра, должна пройти в этом ужасном заточении?..

К чему она тогда мне?.. Не лучше ли самому перейти теперь же грань, которую все равно придется переходить в конце моего нескончаемо-длинного заключения?..

Невольно восставала передо мной эта безотрадная мысль, но я отгонял ее прочь, ибо надежда не угасла во мне, и мне казалось, что скоро настанет время, и каменная твердыня разделится, чтобы открыть мне путь к свободе!

Да, стены твердыни раздвигались, передо мной раскрывалась бесконечная даль, и я чувствовал себя свободным, как воздух, радостное чувство жизни охватывало меня, и мое сердце замирало в восторге... Меня ласкало своими лучами горячее, светлое солнце, лазурным сводом раскидывался надо мной уходивший в бесконечную высь голубой шатер небесной тверди, журчали прохладные, светлые водяные струи, и аромат напоял воздух..

Но глаза мои раскрывались, и я видел мрак... Исчезали чудные видения, мое тело болело и ныло, я поднимался с своего каменного ложа, зажигал свиток папируса и шел к единственному товарищу моего заключения. Я садился против него и всматривался в лицо мертвеца.

Сколько времени проводил я таким образом?

Я не знал этого, ибо для меня не существовало ни дня, ни ночи, ни времен года, ни самого времени...

Папирус догорал, но с течением времени я приучился видеть и в темноте. Я видел лицо мертвеца, и чем больше смотрел на него, тем больше оно говорило мне...

Да, оно было живо, по крайней мере для меня, потому что оно многое рассказывало мне, как рассказывает историю длинную повесть далеких лет бездушный памятник или начертанная скрижаль...

Моя судьба, и сам я, Аменопис, я обращался в ничто, созерцая величие смерти. Не обо мне была моя мысль, но о человеке.

Его земная жизнь и сам он в своем земном существовании казался мне бесконечным ничтожеством... Но дивное, чудное и великое открывалось перед ним за пределами земного бытия!

И думал я, Аменопис, что если бы человек всей силой своей мысли сосредоточился на том будущем, которое предстоит его духу, то в ничто обратились бы все радости и огорчения его земной жизни...

Что она такое?

Ничтожество!

Так думал я, оторванный от жизни... Но пришло время — двери темницы растворились предо мной, и эта ничтожная жизнь захватила меня своей могучей волной!..

На пирах египтян выставлялось деревянное подобие мумии — да напоминает она пирующим о суетности всего земного. О, мудрый и вместе суетный обычай! Я столетия созерцал перед собой мертвеца и не устоял перед жизнью! Только смерть, сама смерть может напомнить человеку о смерти!..

Я вставал, отрывался от своего товарища и шел в книгохранилище. Я возжигал свиток и при его свете с жадностью читал письма папирусов.

Я прочитывал страницы истории великого Египта, правдивые страницы, исписанные рукой верховных жрецов Ра.

О, как не похоже было прочитанное мною на ту историю, которой учили жрецы нас, «воспитанников фараона!» Какие мрачные, кровавые страницы приходилось мне перелистывать!

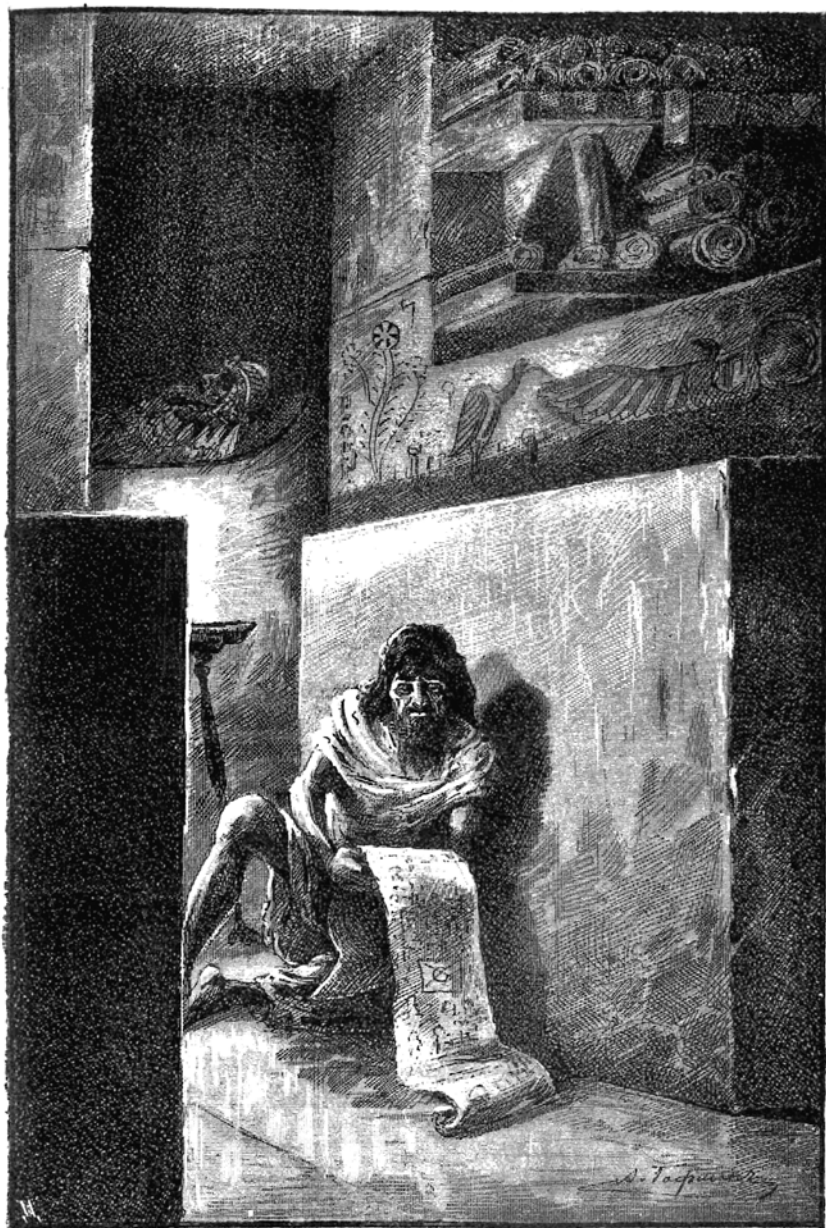
Народ — игрушка в руках жрецов! Фараоны — всеильные фараоны — рабы собственной власти! Не они царствовали, но их заставляли царствовать, оберегали их власть, чтобы править их именем!

И все — могущественная каста жрецов!

Я брал другой свиток. Там излагались обряды служения Озирису и Изиде и пояснялся их символический смысл. Я пробегал их, как нечто уже знакомое мне и мало интересное.

Но вот я напал на папирус, в котором изложено было учение великого Сакия Муни.

С каким упоением предавался я этому чтению! Не самое учение Сакия Муни восторгало меня, но то, что он говорил о человеке. Я не знаю времени, которое я употребил на чтение папирусов, излагавших мудрость индусского учителя: я брал свертки, разрывал их и зажигал, уже не читая. Хранилище оскудевало, мне грозила вечная тьма, но я уже не боялся ее — я жаждал блаженства нирваны!



...Я прочитывал страницы истории великого Египта...

Сама судьба заставляла меня отрешиться от всякой заботы о плоти. Чем дальше текло неизмеримое для меня время, тем меньше и меньше чувствовал я тягость этой плоти и самое ее присутствие. Мой дух как бы отделялся от тела, недвижимо покоившегося на каменном ложе.

Я отделялся от своего тела. Да, я видел его, как сброшенную с плеч одежду, которую я могу вновь надеть или не надеть.

Сходил ли я с ума?.. Так, может быть, объяснит мое состояние человеческая мудрость, так, вероятно, объяснил бы его и сам я впоследствии, когда миновалось время моего заключения и кончилась созерцательная жизнь моего духа.

Но это состояние повторялось в последующие времена моей жизни, всякий раз, когда я вновь умел последовать учению Сакия Муни.

Стоило мыслям моим принять другое направление и возвратиться к той жизни, которая текла за стенами моей темницы, как вид мертвеца, недвижимо лежавшего предомной, снова возвращал меня к созерцанию, и меня охватывало невыразимое блаженство нирваны, блаженство свободного духа.

Так проходило мое существование. Долгие годы, десятилетия и столетия проносились, как бы минувая меня, ибо что такое наше, по человеческому измерению, время для духа, свободного от тела? Ничто!

Но вот и до моей темницы донеслись звуки извне, и жизнь коснулась меня своим дыханием.

VIII

До той поры ничто и никогда не нарушало тишины, невозмутимой, мертвой тишины гробницы. Я привык к ней, но слух мой, изощрившийся до того, что порой мне казалось, будто я слышу полет пыли, поднимавшейся при моем прикосновении от свитков папируса, уловил шум извне, доносившийся из-за стен гранита.

Я сидел в это время, созерцая лицо Ненху-Ра.

Точно пораженный ударом молнии, вскочил я на ноги. Сердце мое забилося, горячая кровь хлынула к голове.

Я прислушался, весь дрожа и замирая. Шум доносился слышнее и слышнее, и, наконец, громовые крики тысячной толпы раздались под сводами моей темницы.

Звуки человеческих голосов! Сразу поразило меня сознание о неизмеримо громадном времени, проведенном мною в заточении.

Страстное желание жизни, той самой жизни, которую я так презирал еще всего несколько минут тому назад, вдруг потрясло меня.

Увидеть свет солнца, увидеть жизнь, насладиться дыханием, взирать в голубое небо, быть с людьми! О счастье! О несравнимое блаженство!..

Я бросился к каменной стене и приложил к ней ухо. Громкие возгласы народа, знакомые мне, опять донеслись до меня. И я в ответ испустил громкий, радостный клик, впервые за целые столетия!

Но звук моего голоса, хриплый, глухой, дикий и мало похожий на человеческий, поразил меня самого.

Я умолк было в ужасе, но лишь только замолк шум извне, как я в смертельном испуге, что я вновь останусь покинутый здесь, снова начал кричать и царапать ногтями гранитные стены.

Я охрип, вместо слов из груди моей вылетали уже только какие-то глухие, сдавленные звуки. Жажда, которой много лет я не испытывал уже, теперь томила меня, губы мои пересыхали, но я все кричал, кричал, посылал проклятия, изрыгал богохульства и, наконец, в совершенном бессилии, но дыша злобой, упал на пол, но и здесь катался по каменным плитам, бился об них головой, царапал и скреб их ногтями до тех пор, пока ногти мои не обломались, кровь обгарила мои руки, и сознание меня покинуло.

Я пришел в себя, и первой моей мыслью было прикончить мое жалкое существование, навсегда разбить хрупкую, гнетущую оболочку моего тела. О, несравненное противоречие, так свойственное человеку!..

С трудом поднялся я на ноги и в последний раз решил взглянуть в лицо Ненху-Ра.

Страшным показалось мне на этот раз лицо мертвеца, так изученное мною в течение долгих столетий: его черты были по-прежнему недвижимо спокойны, величественно важны, но в них явилось и какое-то новое выражение — грозно сжались высохшие губы, и что-то грозное чудилось мне в закрытых глазах...

— Нет, Ненху-Ра, — воскликнул я, — ты сам говорил, что от века начертана судьба каждого! Пусть же совершится должное! Что пользы в земной оболочке, отторгнутой от земной жизни?

Я отвернулся от саркофага и, сжав руками виски, с разбега готов был удариться головой в гранитные глыбы.

Но тут знакомое, но невидимое мне холодное дуновение коснулось меня, и точно далекий шум ветра долетели слова:

— Слушай, Аменопис!..

Я остановился, пораженный. Я чувствовал, что то были ее слова, невидимое присутствие ее духа коснулось меня. И, повинаясь ее словам, я опустил руки и напряг слух.

Я думал, что еще долетят до меня звуки ее неземной речи, но другой звук извне донесся до меня и заставил меня радостно встрепетать: оттуда, из глубокой ниши, служившей хранилищем папирусов, раздавались удары — редкие, глухие, с большими промежутками.

С трепетом бросился я по направлению этих звуков, провозвестников моего воскресения. Я дрожал, боясь, что они прекратятся и вновь наступит тишина ненавистной теперь мне могилы.

Но нет, — о радость! — эти живые звуки не прекращались, вскоре к ним присоединились другие, более частые — и я понял, что происходило за стенами моей тюрьмы: железо било гранит, и с каждым ударом мне казалось, что я ближе и ближе становлюсь к свету, к жизни!

Что значит вся почерпнутая мною в созерцании и размышлении мудрость в сравнении с стремлением к жизни и с радостью жизни!

Я схватил свиток, дрожащей рукой высек огонь и зажег свой обычный факел. Теперь я не скупился, и целый толстый сверток папируса ярко пылал и освещал стены.

Почему раньше не догадался я осмотреть их внимательно, почему не попробовал вынуть хотя бы один камень?

О, как теперь упрекал я себя за это, теперь, когда освобождение казалось мне близко и несомненно!

Сколько времени провел я в заключении? Разве недостаточно было его, чтобы, царапина за царапиной, проскрести один камень, за ним другой, третий?..

Жизнь замерла во мне! Предсказание исполнилось: я был мертв, и я был жив! Не лгала моя звезда — и я вновь увижу ее! Каким блеском она засияет передо мною?..

О радость! О жизнь!

Со светочем в руке рассматривал я каждую впадину, каждое углубление. Чрез малое отверстие, которым, как заметил я при самом начале моего заключения, извне притекал воздух — оттуда звуки доносились всего явственнее.

Я приложил губы к этому отверстию и крикнул изо всех сил.

Но тщетно прислушивался я к ответу и тщетно повторял свои крики — никто не отвечал мне.

Тогда я принес от саркофага светильник и, водрузив на его подставке свой факел, принялся за работу: моими изодранными пальцами, обломанными ногтями я скреб цемент, плотно связывавший громадные камни!

Я не знаю, сколько времени я работал: удары извне то прекращались, то возобновлялись, а я, обливаясь потом, с дикой энергией, почти не чувствуя боли, все продолжал свой бесполезный труд, пока, наконец, мои руки не отказались мне служить.

В отчаянии поднялся я с пола.

Что сделал я?.. Во время моей работы я переменял свиток за свитком и потерял уже им счет... Времени, следовательно, прошло довольно. Что же я сделал? Ничего!.. Не проложил даже едва заметной царапины в твердой массе!..

Отчаяние овладело мною. Я бросился к отверстию и крикнул. Но не было не только ответа, но и самые удары пре-

кратились.

Я был близок уже к тому, чтобы поддаться прежнему безумию, как неожиданно взор мой упал на светильник. Прошла секунда — и я, плача и смеясь, бросился к этой драгоценности.

О, сколько раз видел я его, сколько свитков сгорело на нем — и я не замечал этого орудия, которого достаточно было, чтобы давно уже возвратить мне потерянную свободу.

Что ослепляло меня? Не безумный же был я до той поры, пока не донеслись до меня эти удары извне, возвестившие, что, наконец, восстановилось мое сообщение со внешним миром?

Не судьба ли руководила мною, дабы исполнились ее веления?..

Одна за другой пробегали во мне эти мысли, пока я, с лихорадочной поспешностью, старался сделать из драгоценного предмета нужное мне орудие.

Светильник состоял из тяжелой и высокой бронзовой подставки, оканчивающейся острым и длинным металлическим шпилем, на который или надевалась чаша, наполненная маслом, или же вдевался факел.

Этого металлического шпиля достаточно было, чтобы пробить самый твердый цемент, и он же мог служить мне как рычаг, чтобы вывернуть громадные гранитные камни.

Желание, — этот величайший рычаг,двигающий человека, — придало мне необыкновенные силы: я выдернул шпиль из подставки и принялся за работу, теперь уже твердо уверенный в успехе. О, как быстро подвигалась моя работа! С каждым ударом отлетали куски крепкой, как камень, замазки, и мое орудие все глубже и глубже вонзалось в промежутки между гранитными глыбами.

Только б вынуть одну из них — только одну! Сквозь такой проход свободно может пройти несколько человек!

Я останавливался только для того, чтобы зажечь новый свиток. Я не жалел их — на что были они мне более? Ведь свобода, желанная свобода так близка ко мне, и скоро вместо слабого огня, с дымом и копотью, надо мной засияет

радостный луч солнца! Папирус за папирусом бросал я в снятую со светильника чашу, и яркий огонь озарял мою темницу.

Швы кругом гранитного, правильно обтесанного камня были, наконец, пробиты. Я вздохнул с облегчением. Мне казалось, что остается самое легкое — сдвинуть этот камень, выбросить его вон и добраться до следующего.

Я передохнул и, вложив свое орудие между плитами, налег на него со всей силой.

Толстый рычаг погнулся, но камень не сдвинулся с места. Я вкладывал мое орудие в другое место, в третье... но все напрасно!

Все напрасно! Каким невыразимым ужасом прозвучали в моей душе эти слова!

Камень, простой камень сильнее воли человека!

О, жалкое ничтожество!

Злоба охватила меня, и в новом припадке безумия я схватил тяжелую подставку светильника, который носили обыкновенно два служителя, и с бешеной силой стал бить им по гранитной глыбе. Я не сознавал, что я делаю, но с каждым ударом силы мои росли, мне казалось, что твердыня содрогается, и, полный дикой злобы, я учащал свои удары.

И гранитная твердыня не выдержала: камень обращался в песок, края его отлетали, и перед моими глазами открывался желанный путь к свободе. Но я боялся вновь поддаваться надежде, я хотел, чтобы хлопотала в моей груди злоба, удесятерившая мои силы.

Такая же злоба, часто бесцельная, беспричинная, бушевала во мне впоследствии, но при других обстоятельствах — когда я, среди грома и стука оружия и диких криков беспощадной сечи, наносил страшные удары, падавшие уже не на бездушную гранитную массу, но на живое человеческое тело...

Сила человека взяла верх — камень треснул в нескольких местах. Успокоившись немного, я взял свой рычаг, вложил его в одну из трещин — и громадный осколок с громом вывалился на плиты пола.



...С бешеной силой я стал бить по гранитной глыбе...

Дым и едкая гарь от сжигания папирусов застилала нишу и наполняла комнату, где стоял саркофаг Ненху-Ра. Я потушил огонь и лег на покрытый слоем пепла пол, чтобы восстановить свои силы.

Я не боялся теперь за будущее: я знал, что буду свободен, что эта свобода в моей власти. Я хотел собраться с мыслями, определить хотя приблизительно время, проведенное мною в заточении.

Кончилось ли царствование фараона Сетоса?

Конечно, кончилось... Почему же? Мне то казалось, что так еще недавно был тот момент, когда я увидел перед собою пораженное ужасом лицо живого Ненху-Ра, — то, наоборот, я был уверен, что с той поры протекли целые столетия... Отдыхая от моей гигантской работы, я приходил все более и более в себя и вместе с тем мне начинало представляться, что только ужас одиночества потряс меня, и что несколько дней кажутся мне вечностью.

Но нет! Папирусы загромождали хранилище. Их почти уже нет. А я прочел более половины истребленных мною. Сколько понадобилось бы на это времени?

Как долго продолжался каждый период моего созерцательного настроения, когда тело мое замирало и цепенело, и дух мой отрешался от него?

Что я мог прожить долго без пищи и питья — я не сомневался: Ненху-Ра не мог лгать, и притом лгать в последние минуты своей жизни.

Если царствует другой фараон, то остались ли в живых люди, знавшие меня, и признают ли они меня? Как примут меня жрецы?..

И тут ужасная мысль поразила меня: я был виновен в величайшем преступлении, какое только мог совершить египтянин: я не только читал письма, доступные лишь одному верховному жрецу, но я осмелился истребить самые священные папирусы!

По выходе из темницы меня неминуемо ожидала страшная казнь...

Я должен придумать, как спастись от нее — я хотел жить, и мысль о смерти была мне ненавистна.

Но кто же знает, что здесь именно сохранялись храмовые папирусы?

Ненху-Ра исчез бесследно вместе со мной. Та же преступная рука, которая погребла заживо его и меня, взяла, вероятно, посох верховного жреца. Чудом объяснено было исчезновение Ненху-Ра. Но если похититель его сана не проникнул в гробницу, то, конечно, ему неизвестно было о существовании папирусов.

Тогда я спасен — стоит только уничтожить последние следы хранившихся здесь свитков, сказать, что пепел уже покрывал плиты пола, когда впервые ступила сюда моя нога.

Тем лучше — светлее будет продолжать мне работу.

Какое было мне дело до того, что хищнически будут истреблены сокровища знания, сбереженные для грядущих поколений?

Я встал со своего ложа, и через минуту яркий костер пылал в вековом хранилище беспощадно истребляемых священных свитков.

Я снова принялся за работу. Куски гранита отбивались один за другим и, наконец, первый из громадных камней был вынут. Я стоял в образовавшейся в стене громадной нише, и передо мной лежала новая каменная твердыня. Но я не боялся ее — я знал, что ей не устоять против моих усилий.

Снова потянулось время, но теперь оно для меня то летело быстро, то тянулось страшно медленно, смотря по тому, как шла моя работа.

Я ложился, когда дым наполнял мою темницу, и впал в знакомое мне забытие, телесное оцепенение, каким-то тогда непонятным мне образом восстанавливавшее мои силы.

Иногда я позволял себе, уже когда было возможно, не приступать к работе, и тешил себя мечтами о близком предстоящем мне будущем.

О, как радовалась моя душа в этих мечтах! В смрадной, душной гробнице, в соседстве с трупом, я вдыхал напитанный ароматом воздух, во тьме мне светило солнце!..

Я вынул второй камень и третий.

Вся гробница Ненху-Ра загромождена была обломками, и я начинал бояться, что скоро мне некуда будет девать эти обломки. Я выбил в стене громадный коридор, проход, по которому свободно могла бы проехать колесница и который шел в глубь на двести локтей.

Таковы были стены египетского храма, воздвигнутые руками сынов Израиля!

Сколько камней придется еще мне вынуть? Неужели за четвертым камнем лежит еще ряд, или же только он замыкает мне выход на свободу?..

При первом же ударе моим тараном в этот камень я понял, что он был последний: звук от ударов прежде раздавался глухо, теперь же он был звонок, открывая за собой пустоту.

С каким восторгом принялся я за эту последнюю работу! Какими могучими ударами награждал я твердыню, так беспощадно заключавшую в себе мое я в течение неподдающегося сознанию времени!

Я был увлечен своей работой, но я вел ее теперь уже не с прежней злобой, и ожесточение, лихорадочное самозабвение сменилось во мне всепоглощающим чувством радостного ожидания.

И вдруг — тяжелый таран застыл в моей руке, и сам я замер: там, за этой тонкой уже преградой, раздавались голоса, и не смутные, громовые крики толпы долетали до меня, но ясная, звучная, членораздельная человеческая речь!..

Какой восторг!.. Я хотел крикнуть, хотел нанести гранитной преграде один, последний, страшный удар — но восторг сковал меня, сделал безгласным и недвижимым.

Слова долетали до меня ясно, я слышал, что разговаривающих было двое, но — странное дело — язык их был для меня почти чужд: это не были обильные гласными звуки египетского языка, не богатый созвучиями язык сы-

нов пустыни — хотя именно на него и походил, не сирийцы были говорившие, не персы и не чуждые эллины.

Отдельные слова были мне понятны, если долетали до меня ясно, но смысла речи я уловить не мог.

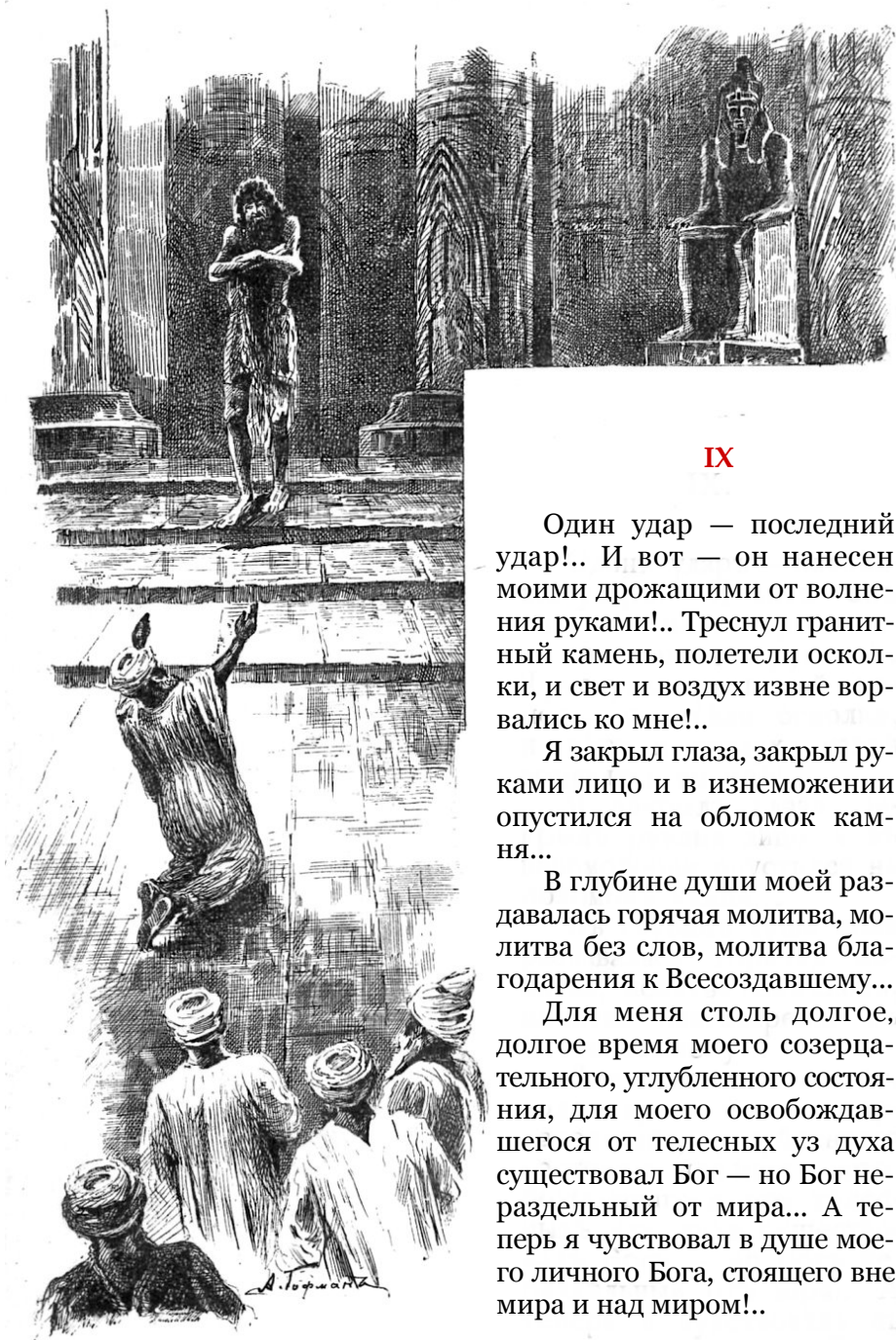
Шаги говоривших, раздаваясь глухо, стали удаляться от того места, где я стоял.

Увидеть людей — людей!

Таков был единый помысел, объявивший меня мгновенно — и занесенный таран готов был уже разрушить последнюю преграду, как я вспомнил о нескольких уцелевших свитках, лежавших еще в хранилище и могших служить свидетелями моего обвинения.

Я бросился обратно в темницу и бросил их в накалившуюся чашу. Вспыхнуло яркое пламя и высоко поднялось кверху. С каким нетерпением следил я, как коробились, чернели, загорались и уничтожались тонкие листья папируса, как обращались они в пепел!

Последние листки папируса сотлели. Я поднялся с места, взял свой таран и взошел в проход.



IX

Один удар — последний удар!.. И вот — он нанесен моими дрожащими от волнения руками!.. Треснул гранитный камень, полетели осколки, и свет и воздух извне ворвались ко мне!..

Я закрыл глаза, закрыл руками лицо и в изнеможении опустил на обломок камня...

В глубине души моей раздавалась горячая молитва, молитва без слов, молитва благодарения к Всесоздавшему...

Для меня столь долгое, долгое время моего созерцательного, углубленного состояния, для моего освобождавшегося от телесных уз духа существовал Бог — но Бог нераздельный от мира... А теперь я чувствовал в душе моего личного Бога, стоящего вне мира и над миром!..

Потрясенная душа моя, наконец, успокоилась, сознание прояснилось, и обладание телесными чувствами возвратилось ко мне.

Я открыл глаза и осмотрелся. Выход был пробит мною в обширный, светлый коридор, в котором громадные колонны поддерживали своды потолка. Этот коридор был знаком мне: он проходил в главный двор храма. Но я хорошо помнил, что все стены его были покрыты живописью. Теперь же ни на одной колонне, ни на простенках, нигде не было видно ничего, кроме ровного, белого слоя штукатурки.

Но мало ли могло совершиться перемен во время моею заключения!

Я вылез из моего окна и очутился в коридоре.

Тут только обратил я на себя внимание: мое платье все истлело и обратилось в прах, я едва мог сделать из него себе пояс. Волосы мои, свалившиеся вместе, падали до пола, и длинная борода спускалась ниже колен. Тело мое страшно исхудало, ребра выдались наружу, плечи торчали острыми углами и, казалось, лишь одна почерневшая кожа обтягивает иссохшие кости.

Как мог я предстать пред кем-либо в таком виде?..

Но делать было нечего, и я двинулся вперед.

По мере моего приближения ко внутреннему двору до меня стали доноситься заунывные, дикие крики, протяжные, похожие на какое-то странное пение.

Тщетно прислушивался я, стараясь разобрать слова. Однако, мне казалось, что некоторые звуки напоминают мне что-то знакомое.

Я подходил уже к концу коридора, все более и более удивляясь отсутствию каких бы то ни было изображений. Вот ниша, в которой, я хорошо помню, стояла громадная статуя Ра.

Но теперь ее нет там. За этой нишей сейчас откроется широкая наружная лестница, ведущая прямо во двор.

За двором высятся стены жилищ храмовых прислужников и жрецов. Я знал расположение отдельных частей, из которых состоял храм и, припоминая общий план, ре-

шил, что Мемфис лежит к востоку от этого главного двора, закрытый постройками.

Простояв с секунду, я прошел нишу, где была статуя Ра, повернул направо и остановился, пораженный: я действительно стоял на верху гранитной лестницы, спускавшейся во двор. Но постройки уже не загромождали вида в даль. Передо мной расстилались поля, желтели нивы, вдали священный Нил клубился паром, правее высился Мемфис и темнели громады пирамид. Голубой небесный свод открылся моим взорам, и солнце ярко сияло в вышине.

О, невыразимая радость! Я был ослеплен и поражен, но жизнь вливалась в меня могучей волной, восторг переполнял мое сердце и слезы застилали глаза.

Я не замечал людей, бывших во дворе, не думал ни о чем и, пав на колени, воздел руки к безоблачному небу.

Но тут громкие крики сменили слышанное мною заунывное пение, не прекращавшееся до сих пор.

Эти крики вывели меня из неподвижности.

Я обратил свои взоры к земле и вновь поражен был удивлением: главный двор храма наполнен был чужеземцами! Несомненно, то были чужеземцы: на это сразу указывал их костюм, состоявший из длинных одежд, их белые и зеленые чалмы.

Как могли быть допущены чужеземцы в стены храма?

И при том — они казались мне бесноватыми. В то время как некоторые из них с громкими криками изумления бросились ко мне и в страхе остановились у подножия лестницы, другие, составив круг, в каком-то непонятном мне исступлении кружились на месте, издавая дикие, заунывные звуки, так поразившие мой слух еще в стенах храма. Некоторые из них уже пали на плиты двора, доведенные до изнеможения этой дикой пляской.

Впереди приблизившихся ко мне стоял высокий старик с длинной седой бородой, в зеленых одеждах и в зеленой же чалме.

Что это за люди и что мне сказать им?

Я медленно стал спускаться с лестницы. Но с каждым моим шагом неведомые мне люди отступали от меня, так

что, когда я переступил последнюю ступеньку лестницы, они были все-таки в нескольких шагах от меня.

Я ясно видел страх и недоумение, выразившееся на их лицах. Вспомнив про свою наружность, я понял этот страх.

Действительно, я должен был показаться им каким-то чудовищем!

Нагой, с одним поясом вокруг бедер, черный скелет, обтянутый одной лишь ссохшейся кожей, с космами волос, падавшими на землю, и с бородой, спускавшейся до ступеней ног, с запекшейся кровью на руках и на теле — кровью, вытекавшею из ран и царапин, полученных во время гигантской работы — я должен был вселять ужас, казаться мертвецом, восставшим из гроба, или вырвавшимся из преисподней призраком.

Я решил успокоить их и обратился к ним с приветствием на арабском языке.

Меня, очевидно, поняли, ибо старик в зеленой чалме первый пал на колени и, простерев ко мне руки, преклонился до земли.

Его примеру последовали и все остальные.

В то же время прекратилось и заунывное пение вертевшихся, и все они простерлись на полу.

За кого они меня принимают?

Мое недоумение разрешилось словами старика.

— Мне, — воскликнул он, не поднимаясь с колен, — мне, недостойному служителю Аллаха и пророка его Магомета, дано приветствовать тебя, потомок Алия, великий и славный наместник пророка!..

Что за чушь говорит этот чужак? Кто этот Алий, потомка которого я изображаю, и кто такой Магомет, наместником которого я являюсь?

Как поступить мне?

— Имам Измаил-бен-Алия, соблаговоли осчастливить рабов твоих и снизойти к ним — мулла Эль-Асса смиренно просит тебя! — продолжал старик.

Решение уже пришло в эту минуту мне на ум: я должен был предварительно ознакомиться с положением дел,

узнать все, что произошло во время моего продолжительного заточения и затем уже действовать сообразно с обстоятельствами.

Пусть же я буду Измаилом-бен-Алией, заместителем Магомета, имамом и всем, что угодно.

Недоразумение должно послужить мне, во всяком случае, в пользу.

Я протянул руки вперед подобно тому, как делали жрецы, благословляя.

При этом мулла Эль-Асса склонился до земли.

— Я рад видеть тебя, Эль-Асса, сохранившим мое наследие! — произнес я торжественным тоном. — Встань, встаньте и вы! — добавил я, обращаясь к распростертым на земле людям.

С моим последним словом началась неопишуемая сцена: все эти люди, с муллой во главе, бросались ко мне, теснились около меня, стараясь прикоснуться ко мне и целуя ступни моих ног.

Положительно, меня принимают за какого-то святого!

В торжественной процессии меня повели через двор.

По дороге присоединялись все новые и новые лица — видимо, весть о каком-то необыкновенном чуде распространилась с быстротою молнии. В сопровождении целой беснующейся и потрясенной толпы этих чуждых мне людей меня провели к большому зданию, лежавшему с южной стороны храма. По дороге, насколько я мог припомнить, я заметил, что самый вид храма значительно изменился: многих из египетских построек, примыкавших к храму и служивших для помещения жрецов и служителей, не существовало. Но зато вместо них высились новые постройки, не похожие на египетские и отличавшиеся своей затейливой архитектурой, изукрашенные арабесками и орнаментами.

Над главной башней храма — той башней, с которой жрецы наблюдали течение светил и которая вместе с тем служила сторожевой башней для Мемфиса и его окрестностей — над ней высился тонкий, остроконечный шпиль, в

верхней своей части оканчивавшийся металлическим полумесяцем. Кой-где и над другими частями храма виднелись подобные же изображения.

Что за народ явился в Египет? Как могли отдать им во владение старейший из египетских храмов?

Фараоны ли правят Египтом или же он завоеван и покорен другим народом? Ведь был же он под властью гиксов?..

Меня ввели во внутренность дома. Толпа осталась у входа, и за мной последовал лишь один мулла Эль-Асса.

Я очутился в роскошно убранных комнатах. Стены их были покрыты позолотой и затейливыми арабесками, ковры покрывали пол, низкие, мягкие диваны с шелковыми подушками тянулись вдоль стен, прихотливо подобранные занавесы служили вместо дверей.

И я, в таком ужасном виде, находился среди этой роскоши!

— О великий, светлейший Измаил-бен-Алия — ты находишься в принадлежащем тебе жилище! Что повелишь ты своему рабу?.. Кончился срок твоего молитвенного уединения и воздержания! Не сообразишь ли ты омыть твое тело и вкусить пищи?

Это предложение почтенного муллы пришлось для меня как раз кстати: я не чувствовал голода, но вымыть мое почерневшее тело было необходимо.

Однако, откуда узнал этот старик о моем заточении?

— Хорошо, Эль-Асса, — отвечал я с подобающей важностью, — выйдя из моего долголетнего заточения, я не намерен возвращаться в него вновь, поэтому я должен омыть мое тело. Кстати, позови уже и цирюльника! — прибавил я.

— Сообрази обождать, сын Алия! — низко кланяясь, сказал Эль-Асса, указывая рукой на диваны. — Я распоряжусь обо всем.

Мулла скрылся, я же с наслаждением растянулся на мягких подушках.

Положительно, мои дела устраивались недурно, и мне следовало до поры до времени пользоваться своим положением.

Вскоре возвратился Эль-Асса.

— Повеление твое, господин, исполнено! — с обычным поклоном возвестил он, — благоволи следовать за мной!

Я направился за муллой. В следующей комнате стояли прислужники с одеждами в руках. На меня набросили зеленый халат, зеленая чалма прикрыла космы моих волос, и зеленые же туфли обули мои ноги.

Меня провели внутренними переходами к бане, и здесь, в комнате для раздевания, снова обратился ко мне Эль-Асса:

— Повелишь ли ты, господин, чтобы пришли служить тебе твои жены и невольницы?

Новое изумление! У меня, столетия пребывавшего в заточении с трупом, как оказалось, существовали не только невольницы, но и жены!

Положительно, я переставал понимать что-либо!

Не откроется ли обман, благодаря именно этим женам?

— Нет, Эль-Асса, — отвечал я, — пусть служат мне эти люди!

Я указал на прислужников.

— Как угодно повелителю! — последовал ответ Эль-Ассы.

С длинной церемонией подстрижена была моя борода и волосы. Обрезки благоговейно принял Эль-Асса и завернул их в зеленое шелковое покрывало.

Но тут цирюльник обратился к Эль-Ассе с удивившим меня вопросом — лично ко мне, как я заметил, не обращался никто, вероятно, как подумал я, согласно особому этикету при обращении со святым.

— Господин, — спросил этот человек, — угодно ли будет повелителю теперь обриться или же после омовения?

Эль-Асса повторил мне этот вопрос.

— Брить голову? — вскричал я, — ни теперь, ни после!

Эль-Асса казался пораженным удивлением.

Я подумал, что сделал какой-то неподходящий к моему положению поступок, но Эль-Асса тотчас успокоил меня.

— Ты, владеющий имаматом*, — воскликнул он, — отменяешь ли ты этот обычай для всех нас?

— Для всех!

Все присутствовавшие почтительно склонились.

Так я, египтянин Аменопис, отменил установленный Магометом обычай и тем положил отличие секты измаилитов от последователей Магомета!..

Вскоре, облеченный в роскошные зеленые одежды, приведенный в приличный вид, я сидел за столом, уставленным всевозможными яствами. Так немного прошло времени с тех пор, как я вышел из заточения, но я уже чувствовал, что организм мой вновь начинает жить: кровь обращалась во мне быстрее, дыхание сделалось свободнее и глубже, а вместе с тем явилось чувство голода и жажды, которых я не испытывал в течение стольких лет — скольких именно, я еще не знал в то время.

Перед обедом Эль-Асса представил мне многочисленный штат моих слуг и мулл, состоявших при мечети, в которую обращен был египетский храм Мемфиса.

Каждый из них падал передо мной на колени и целовал край моей одежды. Я принимал с подобающим величием все эти знаки благоговейного почтения, все еще не зная, за кого именно меня принимают — я хорошо знал только, что эти почести воздаются никак не египтянину Аменопису и не израильтянину Натанаилу.

Несмотря на милостивый прием, никто из представленных мне лиц не сел со мной за трапезу — все в глубоко почтительной позе разместились, стоя в отдалении, в то время как я один сел на подушки около ковра, уставленного всевозможными кушаньями.

При виде этих кушаний аппетит мой вполне пробудился, и я сделал им честь, которую трудно было ожидать от святого.

* Имамат — соединение высшей духовной и светской власти, принадлежащее наследникам Магомета.

Голод мой утих, но я, к удивлению, заметил, что во время всего обеда чаша моя ни разу не наполнилась вином. Между тем, я с удовольствием выпил бы несколько глотков.

— Эль-Асса, — обратился я к мулле, — я с удовольствием выпил бы вина...

Я прервал свои слова, сразу заметив действие, произведенное ими на присутствующих: лицо Эль-Ассы выразило такое изумление, что я чуть не рассмеялся. Все остальные с недоумением взглянули друг на друга.

Я понял, что сделал какую-то крайнюю неловкость.

Ответ Эль-Ассы подтвердил мою догадку.

— О, повелитель, — вскричал он, — раб твой не знал, что тебе угодно изменить закон, данный Магометом...

— Про какой закон Магомета говоришь ты?

— Пророк запретил правоверным употребление вина!..

Мне необходимо было выйти из неловкого положения, в которое поставило меня мое незнание.

Я вспомнил о том, как был отменен одним моим словом установленный тем же неизвестным мне Магометом обычай брить голову и с уверенностью сказал:

— Пророк никогда не давал такого закона...

С новым недоумением переглянулись все присутствовавшие.

— Где написан этот закон, Эль-Асса? — спросил я.

— Конечно в Коране, о повелитель!

В Коране, — подумал я. Что это за книга? Ее, наверное, не было в числе безжалостно истребленных мною свитков.

Однако, мне необходимо было каким-нибудь образом вывертываться.

— Это ошибка, — решил я, — пророк ничего подобного не писал в Коране...

При этих словах недоумение всех присутствовавших тотчас сменилось выражением не только довольства, но и какой-то досады.

— О, негодные сунниты! — воскликнул Эль-Асса, — это они вписали в Коран неуютное пророчество.

Кто такие были сунниты?

Я не знал этого, но мне было все равно — пусть будут виноваты сунниты.

— Ты прав, Эль-Асса, — сказал я, — это виноваты сунниты, поэтому вели принести чашу с вином, и пусть, в знак отмены этого ложного закона, каждый из присутствующих выпьет полный кубок.

Вино было скоро принесено, и я с удовольствием заметил, что исполнение моего приказа вовсе было не неприятно для моих почитателей.

Так легкомысленно я, Аменопис, отменил еще одно из постановлений Магометова закона, и тем самым посеял надолго семя раздора среди правоверных!..

Обед мой кончился; я чувствовал, что сон необходим мне и уже хотел сказать об этом Эль-Ассе, как он сам обратился ко мне:

— Прежде чем повелителю угодно будет отойти ко сну, не соблаговолит ли он явиться правоверным, во множестве собравшимся, чтоб зреть его лик и поднести ему свои дары?

Хотя это было и не особенно приятно мне в виду охватившего меня утомления, но я счел невозможным отказаться и изъявил свое согласие.

Меня провели в главную залу мемфисского храма, где происходили мистерии Озириса и Изида. И здесь все стены были покрыты сплошной белой краской вместо бывших на них некогда надписей и украшений.

Там было уже приготовлено возвышенное место, устланное коврами. Я сел на него, кстати вспомнив, как обыкновенно сидели сыны пустыни, бедуины, обычаи которых были мне известны. Хорошо, что я вспомнил об этом: мне кажется, что я, одним словом изменявший постановления Магомета, потерял бы весь свой авторитет, если бы не догадался сесть, поджав под себя ноги!.. Так часто от ничтожной причины рушится комедия, построенная на человеческом легковерии и суетности!

Я один был в туфлях. Сопровождавшие меня муллы сняли их при входе. Но мне, владевшему имаматом, как

узнал я впоследствии, и не надо было придерживаться этого обычая.

Я, Аменопис, сидел на месте законных потомков Магомета, и мне начинало уже казаться, что я вижу какой-то сон при виде нескончаемой вереницы простиравшихся передо мной правоверных, складывавших передо мной самые разнообразные дары, принимаемые за меня Эль-Ассой.

Надо было видеть восторг, с которым приближались ко мне эти люди и восторг, с которым они отдавали свои дары давно ожидаемому ими наместнику Магомета, наконец явившемуся, чтоб вести их к утраченной истине и дать им потерянное могущество!

Эта церемония, продолжавшаяся до солнечного заката, наконец, окончилась. Усталость моя дошла до такой степени, что я едва мог двигаться.

— Эль-Асса, — сказал я, когда последний из правоверных положил к ногам моим свой дар и облобызал край моей одежды, — после долгого моего поста и молитвенного созерцания я чувствую потребность в отдыхе.

Я встал с места и по знакомой уже дороге направился к моему, так неожиданно приобретенному мною, жилищу. Я прошел было в ту же комнату, куда ввел меня первый раз Эль-Асса, безотлучно следовавший за мной. Но он не остановился здесь и повел меня в другую половину дома. Здесь, перед закрытыми дверями, охраняемыми вооруженным прислужкой, он остановился.

— Отпусти раба твоего, повелитель! Да снизойдет к тебе спокойный сон и да хранит тебя сниспосланный Аллахом ангел!

С этими словами он простерся передо мной и облобызал полу моего халата. Я положил руку на его чалму, и он с низкими поклонами, пятясь задом, удалился.

Совершенно не ожидая предстоящего мне зрелища, я взошел через распахнутую передо мной прислужкой дверь и очутился в обширной, как и все мое жилище, роскошно убранной комнате, где стояли рядами какие-то закутанные в покрывала фигуры, при моем появлении тотчас распростершиеся на полу. Три безбородых слугителя,

с плетками за поясом, последовали их примеру. Один из них, ползя по полу, приблизился ко мне, поцеловал край моего халата и, распростертый ниц, заговорил тонким, гнусливым голосом, нараспев:

— Счастье пришло с тобой, сын Али и наместник пророка! Рабы твои берегли дом твой и сохранили его! Милостиво воззри на простертого перед тобой раба твоего Гассана!

— Встань! — в изумлении едва мог проговорить я, — встаньте и вы! — обратился я к распростертым на полу фигурам.

Приказанию моему тотчас повиновались. Подползли и другие два служителя и проделали обычную церемонию.

— Не повелишь ли ты, могущественнейший, — обратился ко мне Гассан, — открыть лица твоим невольницам?..

Теперь я понял, в чем дело, кто были эти безбородые, с женственными лицами служители и куда я попал! Я знал, что в странах Востока, у азиатских владык, существовало многоженство, мало известное у нас, в Египте. Мне приготовлено было все, что подобало для сына неизвестного мне Али и для наместника Магомета, имени которого я никогда до той поры не слыхивал. И здесь, подумал я, мне придется опять отменять закон, установленный Магометом.

Так подумал я, но в то же время сказал Гассану:

— Пусть они снимут покрывала и приблизятся ко мне!

Приказание мое было повторено, и пред моими глазами очутилось десятка три девушек всевозможных национальностей и всех оттенков кожи.

Каждая из них подходила ко мне и простиралась передо мной, проделывая привычную уже мне церемонно.

Первых четырех Гассан назвал моими женами, но я, конечно, мог поручиться, что никогда не видывал ни одной из них. Видимо, что и они также не знали меня.

Станным и смешным казалась мне эта женитьба, при которой ни одна сторона не знала другой.

Называя по имени моих жен, Гассан подробно называл титулы их отцов, и я к удивлению узнал, что то были

дочери, по-видимому, знатнейших лиц этого народа, царившего в Египте.

При каждом имени Гассан в конце неизменно произносил:

— Принесена тебе в дар, повелитель, и обручена заместителем твоим, господином Эль-Ассой!

После этих четырех, названных моими женами, Гассан уже просто говорил одно имя, прибавляя лишь:

— Рабыня твоя, повелитель!

Уже все прошли мимо меня и оставалась одна лишь, почему-то не приближавшаяся ко мне до сих пор.

По знаку Гассана двое слугителей подошли к ней и, взяв ее под руки, подвели ко мне. Я увидел, что они принуждают ее пасть предо мной, она же противится им, куたясь в покрывало.

Толстое, обрюзгшее лицо Гассана изобразило ужас. Он бросился ниц передо мной и со слезами заговорил своим противным мне гнусливым голосом:

— Да будет милосердие твое над нами, рабами твоими, повелитель! Эта несчастная, презренная рабыня, отродье франков, христианка, подаренная для тебя славным Аубитом. Она строптива, и самые строгие наказания не могли принудить ее к повиновению. Я говорил о ней господину Эль-Ассу, и мы продали бы ее, но мы не знали, что так скоро явится к нам счастье в образе твоём, повелитель! Пощади рабов твоих!

Франки! Что это за народ? В мое время он был неизвестен! Христианка! И это название, означавшее, очевидно, принадлежность к какой-либо религии, тоже было мне незнакомо.

В это время слугители сдернули покрывало с девушки, взор мой упал на ее лицо, и я едва удержался на ногах от восторга и ужаса, вместе охвативших меня...

Она, она стояла передо мной! Она была похожа на Ревекку, избранницу души моей, чей дух витал надо мной, потерю которой я оплакивал всей скорбью моего осиротевшего сердца!



...Я смотрел на нее и видел, как тихие слезы катились по ее щекам...

Она стояла передо мной, разгоряченная борьбой, с лицом, залитым румянцем стыда и негодования. Золотой обруч, сдерживавший ее волосы, упал, и они разлились волнами по ее плечам, руками она отталкивала своих мучителей, губы ее были плотно стиснуты и дрожали веки полузакрытых глаз...

Только кожа ее не так смугла, как у Ревекки, но во всем остальном было сходство до тождества.

— Пустите ее! — грозно крикнул я.

Освобожденная, она тяжело вздохнула и при звуке моего голоса вперила в меня свой взор. Ее, ее глаза смотрели на меня огнем негодования! Я встретил этот грозящий взгляд и видел, как испуг отразился в нем, как побледнели ее щеки и тихий крик вырвался из ее уст.

Я сделал шаг к ней, и она, обессиленная, чем-то пораженная, пала на ковер пола.

— Поднимите ее и перенесите куда-нибудь, — приказал я служителям.

Бережно подняли ее бесчувственное тело, отнесли в расположенную рядом комнату и положили на подушки дивана.

Знаком отпустил я служителей и, оставшись наедине с ней, покрывал поцелуями ее руки, и слезы восторга омочили мои глаза. Я слышал биение ее сердца, ощущал дыхание жизни в ее сомкнутых устах, и радостный голос звучал в моей душе.

Строгая фигура левита Талмаи чудилась мне за этой, без сознания лежавшей передо мной девушкой, раскидывались пальмы и оливы Газы, виднелась тень пирамиды, где увидел я ее впервые, и в ушах моих раздавался шум битвы, в которой я потерял ее!..

Немного прошло времени, как она открыла глаза и увидела меня, стоящего перед ней на коленях.

Снова непонятный мне испуг отразился на ее лице, но вместе с тем и румянец негодования вспыхнул на ее щеках.

Она воспрянула с своего ложа и оттолкнула меня.

— Не отталкивай меня! — воскликнул я, — не бойся меня!

И вот зазвучал ее голос!.. Но не чисто звучала ее арабская речь, слова искажались и, видимо, чужд был ей язык, на котором она говорила.

— Что надо тебе от меня? — воскликнула она. — Как могу я не бояться тебя? Хищнически отнята я от всего, что дорого мне, и гибель грозит мне от тебя!.. Тебя называют давно ожидаемым наместником пророка, но я не знаю твоего пророка, я не склонюсь перед тобою, и скорее раскроются для меня объятия смерти, чем твои!..

Я поднялся и сел около нее.

И снова отразился страх на лице ее.

Она боязливо отодвинулась от меня.

— Не бойся же меня! — воскликнул я.

— Я не знаю тебя и никогда не видала... Я знаю, что есть судьба для каждого человека, но знаю также, что ни один волос с головы моей не спадет без воли Бога! Так учил Спаситель Иисус Христос!..

— Кто был этот Иисус Христос и кого Он спас, что называешь Его Спасителем? — с недоумением спросил я.

— Как?.. — воскликнула она. — О, несчастный, ты не знаешь, кто был Господь наш Иисус Христос?.. Он для нашего спасения от греха проклятия и смерти пришел в мир, воплотился, страдал, был распят, скончался крестною смертью и воскрес в третий день!.. То был обещанный миру Мессия!..

Она осенила себя при этих словах крестным знаменiem.

Что говорила она?..

Я вспомнил обетования, данные избранному народу о

пришествии Мессии-Царя.

— Что говоришь ты? — в крайнем изумлении отвечал я. — Разве приходил в мир обетованный Мессия и создал на земле царство Израиля?..

— Да, он приходил, но царство Его не от мира сего, и не принял Его избранный народ и распял Его...

— Распял?.. Какой же это был Мессия, если Он предан был такой позорной смерти?.. Что говоришь ты, девушка?..

— Истину говорю я тебе и буду говорить, если ты хочешь меня слушать...

— Хочу! — перебил я ее.

— О, я рада! Но кто ты на самом деле, что не знаешь о пришествии в мир Господа Иисуса Христа?.. От края до края вселенной произносится имя Его, хотя еще не все уверовали в Него?..

— Как мог я знать об этом, девушка?.. Я скажу тебе, кто я, и, если ты дашь веру словам моим, ты поймешь, что многое совершилось в мире, пока я был мертв, не умирая...

При воспоминании о моей судьбе скорбь охватила меня, беспричинная скорбь... Должно быть, страдание отразилось и на лице моем, ибо девушка с участием положила свою руку на мою и ласково проговорила:

— Кто бы ты ни был, я вижу, что ты не тот и не таков, каким я считала тебя... Говори, я охотно буду слушать тебя... Я хотя и плохо говорю сама на твоём языке, но давно уже длится моя неволя, и я все понимаю...

И я рассказал ей длинную повесть моей жизни.

Внимательно, почти не перерывая, слушала она меня, и долго длился мой рассказ. Последние лучи солнца, игравшие на шитых золотом тканях ее одежды, скрылись, настала темнота, серебряный свет месяца пролился через окно наверху стены и мягким сиянием озарил ее лицо, а я все продолжал говорить...

Я видел, как боролись в ней недоверие и страх, как невольно чувствовала она правдивость моих слов и как не могла и боялась поверить их истине.

Когда я кончил, слезы текли по ее лицу, омраченному и скорбному.

— Слушай, Аменопис! — воскликнула она, поднимаясь с места. — Душа моя смутилась от твоих слов!.. Она ищет покоя, а мы, верующие во Христа, обретаем покой в молитве!.. Склонись и ты вместе со мной и да просветит тебя свет истины!..

Она встала, глаза ее поднялись к видневшемуся чрез окно звездному, озаренному светом месяца небу, вера и любовь сияли на ее лице...

Я смотрел на нее и видел, как тихие слезы катились по ее щекам...

Но вот она повернула ко мне голову и воскликнула:

— Я вслух буду говорить молитву за тебя, Аменопис! Повторяй ее слова в твоём сердце, и да снизойдет на тебя благословение Бога!..

И я, Аменопис, пав рядом с ней на колени, в сердце и душе повторял слова ее молитвы.

Она призывала Спасителя и ради любви, Им явленной, просила милосердия и любви для меня, непросвещенного, и для всех людей, и для врагов наших... Она просила разумения для себя, да научит ее Господь и наставит и направит стезей истины...

Чудны, неслыханны для меня были слова ее молитвы!..

«Око за око, зуб за зуб!» — говорил закон Израиля.

«Никого не любит человек больше самого себя... Но так и должно быть!» — снова слышались мне слова мудрого, великого Ненху-Ра...

— Благослови ненавидящих нас, спаси проклинающих нас!.. — трогательно звучал голос коленопреклоненной девушки.

Какие разнообразные мысли, какие несовместимые образы восставали при этом в уме Аменописа!..

Спаситель, преданный позорной казни Бог, молитва за врагов, царство любви на земле — как все было не согласно с тем, что привык он считать за истину!..

Но он чувствовал, как сердце его раскрывалось, как в неизреченном сиянии восставал перед ним образ Христа, и лучами славы загорался воздетый на главу Его терновый венец!..

Снова прозвучали слова молитвы за обращение язычника Аменописа, и девушка поднялась с колен.

Встал и я, и сел рядом с нею.

— Видишь, Аменопис, — заговорила она, — велика сила молитвы... Покой снизошел в мою душу, и теперь я верю словам твоим, верю всему, что говорил ты мне... Если бы неправду ты рассказывал мне, то мое сердце отвратилось бы от тебя, я почувствовала бы ложь...

— Правду говорил я тебе!..

— Мое имя — Агнесса... Хотя оно и чуждо твоему слуху, но ты так должен называть меня, ибо это имя дано мне...

— Я буду называть тебя так!.. — воскликнул я и повторил несколько раз ее имя.

Она улыбнулась мне в ответ, и каким счастьем осветилась моя душа от этой улыбки!

— Агнесса, Агнесса!.. — повторил я и повторял, и снова и снова она улыбалась мне.

Я говорил бы это имя без конца, только чтобы видеть ее улыбку, но она остановила меня наконец.

— Довольно, Аменопис! — сказала она. — Всему свое время... Подумай о том, что надлежит тебе делать и как поступать! Ты попал в нехорошее положение.

— Я знаю это, Агнесса, — отвечал я, — но как было поступить мне иначе?.. Всякий на моем месте поступил бы также!..

— Не оправдывай себя, Аменопис!.. Если бы ты был христианином, ты никогда не думал бы о том, как можно поступить, но думал бы лишь о том, как должно поступить!..

Да, эта глубокая мудрость была возвещена мне впервые устами девушки, мало знавшей, но много понимавшей!..

Так в человеке, без мудрствований слабого человеческого ума воспринимающем свет божественного откровения своим чистым сердцем, восстает образ истины. Где вера овладела душой человека, где она проникла его, там нет места раздвоению, там нет места сомнению, там каждым его поступком, каждым действием руководит закон, не им из-

мышленный, но в нем живущий, пока жива его чистая вера!

— Как же поступила бы ты на моем месте? — спросил я девушку.

— Я сказала бы правду, я не ввела бы в обман других!

— Но что было бы с тобой тогда?

— Что угодно Богу!..

Что угодно Богу!..

Я понял эти слова только в последние дни моей жизни, только тогда, когда я действительно возложил все упование мое на Господа и когда уничтожился во мне дух гордости!..

Но тогда я со смехом возразил ей:

— Ну, мне хотелось бы, чтобы со мной случилось то, что угодно мне!..

Как омрачилось лицо ее при моих словах!..

— Остановись, Аменопис! — прервала она меня. — Давно ли, стоя рядом со мной на коленях, ты молился неведомому тебе Богу?.. Душа твоя раскрывалась, и неведомый Бог являл тебе Свое милосердие!.. Над Ним ли ты теперь издеваешься?..

Серьезен и строг был тон ее речи. И я, могущественный наместник Магомета, повелитель правоверных, одного слова которого было достаточно, чтоб скатилась с плеч голова непокорной рабыни, я в смущении, с краской стыда на лице, робко произнес:

— Прости меня, Агнесса!. Я не хотел оскорбить твоего Бога...

— Моего Бога!.. Остановись!.. Один Бог для всех!.. И как можешь ты оскорбить Бога?.. Ты — и Бог!.. Вдумайся, Аменопис!..

— Но тогда за что же ты сердишься?..

— Ты губишь себя, хуля Бога!.. А это самый великий грех!..

— Прости меня, Агнесса!.. Вспомни, что я долго оторван был от мира, что закон, о котором ты говоришь, чужд и непонятен для меня... Но верь, любовь к тебе горит в моем сердце...

— Оставь! — прервала она меня. — Я не знаю, не могу понять многого из того, что говорил ты мне. Мне страшно подумать, что я вижу перед собой человека бессмертного...

— Не бессмертного, Агнесса, нет! Только способного долее сохранить свою жизненную силу, чем другие. Что такое столетие, два, три — даже тысячелетие? Не простая ли это условность?..

Девушка ничего не отвечала на мои слова. Я понимал, что трудно было воспринять ей то, что, по-видимому, было сверхъестественным, не согласным с общим порядком вещей...

Луна заходила, и сквозь решетку окна теперь мигали лишь звезды, яркими точками горевшие на почти темном небе.

Я снова почувствовал усталость, но не ту, в которую впадал во времена моего заточения, когда тело мое было лишено питания и воздуха — теперь я чувствовал усталость здоровую, потребность живительного сна.

Видимо, утомлена была всем пережитым и Агнесса.

— Прощай, Аменопис, — ласково сказала она. — Отпусти меня — обо многом надо подумать мне и тебе. Завтра мы увидимся.

Я отворил двери комнаты и, проводив девушку, заснул крепким сном.

XI

Прежде, чем продолжать мою повесть, я должен пояснить, почему встретили меня с таким необычным почетом добрые мусульмане, сразу провозгласившие меня своим повелителем.

Было бы утомительно передавать шаг за шагом все события первых дней моего владычества и те пути, которыми самому мне выяснилось положение, в которое я был поставлен.

Пророк Магомет, соединивший в своем лице верховную духовную и светскую власть, умер, не назначив себе преемника. Его последователи тотчас разделились на две враждебные партии — одна хотела иметь наместником Магомета — халифом — зятя пророка Алия, другая — набожного Абу-Бекра. После упорной борьбы Абу-Бекр, не имевший, в сущности, никаких прав на престол, восторжествовал.

И по смерти Абу-Бекра престол не достался Алию, но перешел в руки Отмана. Лишь по смерти этого последнего Алий сделался халифом. В это время Ибн-Эль-Асса завоевал Египет. Соединившись с Моавиагом, он свергнул с престола Алия, и Моавиаг сделался халифом.

Алий был преследуем и изменнически убит вместе с одним из своих двух сыновей. Другой же исчез неизвестно куда.

Эти события послужили причиной разделения магометан на две резко отличающиеся секты — первая признавала законность владычества Абу-Бекра, Омара и Отмана, хотя и не отвергала законности правления Алия. Вторая только Алия и его потомков признавала законными властителями.

К этим политическим разногласиям присоединились религиозные. Первая секта получила название *суннитов*, вторая — *шиитов*.

Число последователей Алия быстро увеличивалось, но при этом и самые сунниты разделились на несколько партий. Сильнейшей из них была признававшая в потомках Алия соединение высшей духовной и светской власти.

Неизвестная судьба Измаила, сына Алия, дала повод сложиться легенде, которая и послужила причиной необычайного эффекта, произведенного моим появлением.

Измаил-ибн-Алия, законный наместник Магомета и властитель правоверных, не был убит, подобно своему отцу и брату: пророк, оскорбленный и разгневанный нечестием, хотел было проклясть мусульман за их вину. Но среди них были и праведные — те именно, которые не признавали законности династии оммиадов и верили, что настанет время, когда воцарится дом Алия.

Ради них пророк пощадил отступников. Но тяжелая вина должна была быть искуплена. И вот искупить ее должен был тот же Исмаил-ибн-Алия — он должен был явиться спасителем мусульман.

Пророк извел его тайно в Египет и заключил в твердых Мемфисского храма, обращенного в мечеть. Исмаил ибн-Алия получил от пророка дар долгой жизни. Он, в своем заточении, не вкушая ни пищи, ни питья, не омывая своего тела и не подстригая волос, должен был постоянной молитвой умиловить Аллаха и его пророка. Все правоверные шииты, т. е. собственно измаилиты, признававшие истинность этого сказания — также должны были непрестанными молитвами умиловлять Аллаха и просить пророка, чтоб он скорее явил правоверным своего истинного наместника.

Исмаил-ибн-Алия мог явиться каждую минуту. При мечети Мемфиса, на приношения правоверных, воздвигнут был роскошный дворец, который должен был принять Исмаила. Знатнейшие из шиитов приносили в дар своих дочерей, которые считались женами Исмаила и жили в его дворце под строгим присмотром.

Ежегодно в мечеть Мемфиса стекались толпы мусульман — преимущественно из Персии, где особенно сильна была секта измаилитов — на поклонение месту, где заточен был Исмаил-ибн-Алия. Ежедневно происходили торжественные моления о том, чтобы явился ожидаемый имам.

И вот, в день празднования спасения Исмаила, во время обычной молитвы о появлении его, я, Аменопис, предстал глазам правоверных...

Моя наружность, мое неожиданное появление, совпадение с настроением людей, пред которыми я предстал — все заставляло видеть во мне именно давно ожидаемого имама, наследника Магомета.

С моим появлением должен был воцариться дом Алия и настать славное время могущества правоверных.

Отсюда был понятен восторг, с которым я был принят, непоколебимая вера в мои слова, которых было достаточ-

но, чтобы изменять обычаи и законы, установленные самим Магометом.

Прошло несколько дней, прежде чем я, всевозможными путями, выяснил, наконец, себе свое положение и роль, которую я играл.

О, как убеждала меня Агнесса отказаться от моего положения, с каким жаром доказывала она мне, что лишь закон Христа ведет к спасению.

Я видел, как воспламенялась душа христианки; я видел, что она убеждена в истинности своей веры. И я не разрушал этой веры, как не считал правым разрушать веры и в истинность закона Магомета.

— Не все ли равно, во что ни верит человек? — рассуждал я. — Важно лишь, чтобы он верил...

Новые мысли являлись у меня, возвращенного к жизни и захваченного ею. Я думал, что лишь избранные из среды людей могут вести человечество к истине, которая должна сменить условность, какой считал я и закон Магомета, и закон Христа...

И я считал себя одним из таких избранных. Путь к истине, как думал я, был уже намечен передо мною, и я буду следовать им. Но пусть не коснутся смертной борьбы, мне предстоящей, те, кто может погибнуть в ней.

Я не хотел разрушать малое в надежде дать великое.

Я — верховный имам шиитов, глава измаилитов, наместник пророка — я обладал дивной, неограниченной властью над своими последователями.

Пусть же эта власть послужит мне для того, чтобы уничтожить несправедливость, царящую между людьми, давящую их, пусть она направится к тому, чтобы на земле дать им радость и счастье, создать обетованное царство!

Мне принадлежит верховная светская и духовная власть. Слово мое должно быть законом — тогда для моих последователей будет грех только в нарушении моего слова, для них не останется места борьбы и сомнению, ибо истина всегда будет пред их глазами; эта истина — я...

Охваченный этими новыми мыслями, я увлекался ими все более и более. Я видел уже, что все мусульмане примк-

нули ко мне, что от края до края всего известного людям мусульманского мира составилось одно царство, воплощенное в одном человеке...

И вот, когда я решил окончательно, что настало время действовать и начать проповедь нового учения, которое должно было отдать в мои руки верховную власть над всеми последователями Магометова закона, — я решился открыть мои намерения перед наивной девушкой, которая была дорога моей душе, но в которой вера заменяла разум. Я хотел раскрыть перед ней свою мудрость, указать путь, которым я хочу освободить людей от тяготы жизни...

Я полагал, что мне, умудренному знанием и размышлением, не будет трудно убедить слабую девушку.

Она вошла ко мне, и я сразу заметил, что сумрачен и печален был вид ее лица. Мне стало жаль ее. Бедная, восклицал я, ты скорбишь, что я не хочу следовать закону, данному Тем, Кого ты считаешь Богом!.. Но вот — погоди, я укажу тебе другую истину — не ту истину, которая становится истиной только для верующего, но ту, которая явится истиной непреложной для всякого, кто захочет ее познать!..

О, я ли один думал найти эту истину?.. Не ее ли вечно искало все человечество, то гордое силой своего ума, то ослепленное фанатизмом?..

— Агнесса, — воскликнул я, — так суждено, чтобы ты принадлежала мне...

— Опять то же, Аменопис! — прервала она меня, — опять то же!.. Не говорила ли я тебе, что даже если бы любовь к тебе ярким пламенем вспыхнула в моем сердце, то и тогда не принадлежала бы я тебе!..

— Почему, Агнесса?

— Ты — неверующий!.. — с грустью ответила она, и слезы затуманили ее глаза.

— Неверующий!.. Но следует ли из этого, Агнесса, что ты нарушишь закон, сделавшись моей женой?..

— Как могу я сделаться твоей женой?.. Ты — язычник, я — христианка!..

О, какое негодование возгорелось в моей душе при этих словах!..

— Остановись и прости меня!.. — воскликнула Агнесса, внезапно склоняясь к моим ногам: — я ввела тебя во гнев! Смири его! Не мне, неопытной девушке, толковать тебе закон Христа! Мое толкование ввело тебя в грех! Ты осудил закон Христа! Да будет же грех твой на мне!..

Она стояла на коленях передо мной! Она с любовью простирала ко мне руки!..

Какой гнев мог устоять перед этим?..

Нежно поднял я ее, посадил на диван и сам склонился к ее ногам.

— Агнесса! — восклицал я, — ведь я вижу, любовь ко мне пробудилась в твоей душе?..

Румянец покрыл ее щеки при моих словах.

Она закрыла лицо руками и поникла головой.

— Ведь правда же?.. Я угадал?.. Скажи!.. — допрашивал я.

— Что же из того?.. Ты угадал!.. — воскликнула она, поднимая на меня свой чудный взор. — Скажи, Аменопис, свободна ли совесть?..

Я задумался.

— Скажи откровенно, Аменопис! — повторила она.

— Да, свободна! — воскликнул я.

— То есть ты согласен, что человек всегда должен поступать так, как велит ему совесть?

— Да, Агнесса!

— Так вот — я не берусь толковать тебе закон, ибо на это есть епископы и священники. Но моя совесть не позволяет мне стать твоей женой, пока ты остаешься язычником!..

Оскорбление поразило меня до глубины души.

— Я не язычник, Агнесса! — воскликнул я, поднимаясь с колен: — я признаю Единого, Всемогущего Бога, стоящего над миром!.. Человеку дано искать Его и познавать! Ища и познавая Его, человек открывает путь к истине!.. Но где же вина, если двое людей смотрят на предмет различно?.. Повторяю — где твоя любовь, если ты, сохраняя себя, губишь другого?..

Подобно тяжелым ударам бича падали мои слова на несчастную девушку. Она бледнела, внутренняя борьба по-

давляла ее... В отчаянии ломала она руки, рыдания вырывались из ее груди...

— О Боже! — со стоном восклицала она. — Боже, научи меня!.. Что мне делать?..

Я, Аменопис, веровал лишь в Единого Бога. Эта вера не раскрывала передо мной смысла и цели жизни. Моя вера не давала мне закона и не вызывала передо мной образа истины, которого должно было достигнуть.

— Девушка, — воскликнул я, — не думай, чтобы истина открывалась верою: истина познается умом и мучительной борьбой, она является только перед теми, кто пытал природу и самого себя, кто мучился и страдал...

— Нет, Аменопис, — прервала она меня тоном непоколебимой уверенности, — истина в том, что говорил нам и чему учил нас Спаситель Христос...

При этих словах раздражение вновь возникло во мне.

— Я не хочу зла, я хочу только добра для людей. Мои последователи, то есть те, кто видит во мне провозвестие истины, — многочисленны и сильны. Они будут еще многочисленнее и сильнее. Они распространятся по всему миру, и весь мир будет повиноваться мне... Ты увидишь, что это будет так!..

— Этого никогда не будет, Аменопис!..

— Почему?

— Потому что Христос Спаситель сказал: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее». Ты хочешь, чтобы весь мир принял учение, отвергающее христианство! Этого не будет.

О, как вознегодовал я, Аменопис, при этих словах! Можно ли было говорить, можно ли было что-либо доказывать человеку, который против всего выставлял лишь свою веру?

— Но положим, Аменопис, — прервала Агнесса мои размышления, — положим, что многие примут твоё учение. Какая же польза будет от того миру?

— Я создам единое царство, властелином которого буду я. В этом царстве не будет зла, не будет ответственности для людей, потому что за всех буду отвечать только я. Из-

бранные пойдут вслед за мной, чтобы отыскать истину и явить ее всем!..

— Боже, — воскликнула Агнесса, устремляя взор свой кверху, — просвети его! Избави его от внушения лукавого!..

Тут уже я не мог сдержать своего негодования.

— Молись о себе! — вскричал я, — оставь меня! Помни: ты суждена мне, и ты будешь моей женой!..

— Никогда, Аменопис!..

Эти слова прозвучали уже за дверью, которую я, раздраженный свыше всякой меры, захлопнул за собой.



ХП

После этого свидания я видал Агнессу ежедневно, но уже не было между нами той искренности, которая помогала нам сближаться прежде. В душе моей kloкотало глухое недовольство ею, она же, замечая мое настроение, как бы пугливо замкнулась в себе. Я знал, что она любит меня, и тем не менее часто замечал выражение страха в ее устремленном на меня

взоре. Теперь я почти всегда говорил с ней на языке франков, которому научился с легкостью, изумившей ее.

Между тем осуществление задуманного мною плана — создания единого мусульманского царства, видимо, находило для себя благоприятные условия. Со всех концов Египта и из отдаленной Персии сходились на поклонение

мне последователи учения измаилитов. Имя мое и чудесная весть о моем появлении привлекала ко мне даже многих из суннитов. Халиф Египта Мостансер отказался от титула верховного имама, который он носил до сих пор, и предоставил его мне. Он не мог, даже если бы и захотел искренне, передать мне светской власти, так как многие из его подданных не разделяли учения измаилитов, и в их глазах я, во всяком случае, являлся лицом довольно загадочным. Но обладание Египтом и не было мне нужно сейчас: взор мой обращался в другую сторону, туда, где гремела слава христианского оружия, где несколько лет тому назад цветущее и сильное Иерусалимское королевство расшатывалось под ударами мусульман. Иерусалим уже пал, но многие из основанных крестоносцами княжеств еще держались. Мне, считал я, надлежало взять Иерусалим и сделать его столицей нового царства...

Я посылал приближенных мне проповедовать измененное мною учение измаилитов в Персию. Проповедь имела успех, и новообращенных было множество. Весь Белуджистан почти принадлежал уже к числу последователей нового учения.

Но я все еще был халиф без трона, наместник Магомета без царства и столицы!

Мемфис не мне принадлежал, и я был в нем лишь гостем. Я посоветовался с Эль-Ассой и важнейшими из приближенных ко мне лиц. Все они разделили мое мнение, по которому надлежало приобрести в собственность какое-либо укрепленное место и сделать из него мою столицу и убежище для вновь обращаемых.

Мой выбор пал на область Рудбар, смежную с Казбином. Она принадлежала Мегди, именовавшему себя *ибн-Алия*, т. е. потомком Алии. Но если я, сын Алия, явился среди правоверных, то и наследие моего отца должно было принадлежать мне.

Однако, прежде чем прибегнуть к силе, я решил испытать хитрость. Я объявил Эль-Ассе, что желаю лично приветствовать халифа Мостансера и из Каира, где он имел пребывание, пройти в пределы Персии, где было множе-

ство измаилитов, чтобы явиться им.

Весть о том, что чудесным образом явившийся, согласно предсказанию, сын Алия, наместник пророка, намерен лично выступить на проповедь своего учения, быстро распространилась не только в Египте, но и за его пределами.

Одно за другим приходили ко мне три посольства от халифа Мостансера, чтоб выведать мои намерения, видимо, начинавшие беспокоить его.

Но я не считал нужным выяснять их и отвечал, что прошу только позволения приветствовать славного Мостансера, халифа египетского и моего родственника, на пути в Персию.

Видимо, мое намерение идти в Персию пришлось по душе халифу, так как вскоре я был уведомлен, что не имеется никаких препятствий к моему отъезду в Каир.

В это время у меня был уже отряд собственной гвардии, составленный из фанатически преданных мне людей. Начальство над ним я поручил Бедр-аль-Джемалу — искусному воину и человеку, знавшему о моем намерении завладеть областью Рудбар и основать в ней свою столицу.

Я побоялся возвратить своих жен их отцам, так как это было бы сочтено величайшим оскорблением, и мой гарем я брал с собой. Вместе с гаремом должна была следовать и Агнесса, за последнее время тщетно упрашивавшая меня отпустить ее в пределы христианских княжеств.

Эль-Ассу я оставил наместником своим в Мемфисе: здесь теперь находилась величайшая святыня измаилитов — место, в котором Измаил провел долгие годы своего заточения. Гробница Ненху-Ра, по моему повелению, была наглухо заложена, и осталась лишь небольшая ниша, служившая хранилищем папирусов.

Я не буду описывать нашего торжественного шествия по Египту: не только измаилиты и шииты, но и верные сунниты отовсюду стекались, чтобы видеть меня и принять мое благословение. Многие оставались, чтобы сопровождать меня, и когда мы приближались к Каиру, то, казалось, какая-то могучая рать двинулась войной против халифа Мостансера.

Наступил, наконец, и день моего торжественного въезда в Каир — памятный для меня день!..

Посланные от Мостансера встретили нас в пяти стадиях от города и, так как было уже поздно идти дальше, то вступление было отложено до утра.

Вид моих воинов, видимо, произвел впечатление на посланных, и по их совету халиф Мостансер решил принять меры предосторожности: по крайней мере, на другой день пришел к нам многочисленный отряд войска, присланный, чтобы служить в виде почетной стражи.

Но я хорошо знал, что эта стража предназначалась для того, чтобы воспрепятствовать мне захватить город, к чему представлялась полная возможность.

С самого вечера обширная равнина, на которой разбит был наш лагерь, покрылась толпами народа, вышедшего навстречу Измаилу-бен-Алия. Мои воины окружали палатки мои и моих жен и препятствовали натиску любопытных.

С наступлением ночи, множество костров на далекое пространство, почти вплоть до самого города, загорелось ярким пламенем. Глухой говор и шум многотысячной толпы нарушал безмолвие ночи.

Я вышел из палатки и долго созерцал красивую картину, раскинувшуюся передо мной. Тут только воочию постиг я, какая власть над людьми дана мне в руки, и почувствовал свою силу.

Да, благодаря этой вере в меня, я могу достигнуть всего, что захочу!..

Воображению моему уже рисовалась картина могущественного царства, где не было неравенства, не было несправедливости, не было зла; где борьба и внутренний разлад были чужды человеку, вполне подчинившемуся чужой воле, предоставившему ей искать истину...

И я был уверен, что сумею достигнуть этой истины!..

Я проживу еще долгие столетия... Я обладаю уже многими знаниями, но я увеличу их во сто крат... Мир раскроет передо мной свои законы, — и не только окружающий меня мир, но и область, таинственная область, лежащая за пределами его и за пределами земной жизни человека!.. И

Агнесса — слабая, неопытная девушка, — осмеливается считать греховными и несбыточными мои надежды!..

Я подошел к обширной палатке, в которой заключены были мои жены и невольницы.

Вооруженные евнухи, стоявшие на страже при входе, распростерлись ниц.

Я откинул полог и позвал Агнессу. Она вышла ко мне, кутаясь в белую чадру.

— Смотри, Агнесса, — сказал я ей, указывая на тысячи огней, — вот отовсюду сошелся народ, видящий во мне своего властелина. Придут еще многие, и все сойдутся под мои знамена. Как говоришь ты, что несбыточны мои надежды?..

Девушка откинула покрывало и несколько секунд всматривалась в развертывавшуюся перед ней картину и прислушивалась к шуму и говору толпы.

С удивлением заметил я, как при этом лицо ее все более и более подергивалось грустью.

— Боже мой! — наконец, проговорила она с тяжелым вздохом, — снова прольются реки крови!.. Но да будет воля Твоя!..

— Что смущает тебя, Агнесса? — спросил я. — Ты видишь, что я не лгал, и что тысячи людей готовы идти за мной. Я создам сильное царство — сильное своим единством и своей верой... Не печалься — я скажу тебе еще... Смотри!

Я вынул из пояса сосуд финикийского сплава, взятый мною от Ненху-Ра, и показал ей.

— Ты выпьешь чудного эликсира, и жизнь твоя продолжится на столь же долгие годы, как и моя...

Я ожидал, что она в восторге бросится ко мне.

Но она отшатнулась в ужасе и вскричала:

— Не надо, Аменопис!.. Умоляю тебя — пощади!..

— Почему, Агнесса? — едва мог я выговорить от изумления.

— Потому, что только от Бога зависит жизнь человека! Я не хочу жить дольше, чем живут другие люди!..

— Перестань!.. Ты сама не знаешь, что говоришь! Ты сказала, что любишь меня?..

— Люблю... и боюсь, Аменопис!

— Бойся лишь раздражать меня!.. Я дам тебе долгую, бесконечно долгую жизнь — и ты поделишь ее со мной!.. Пей!..

Я протянул ей сосуд.

— Ни за что, Аменопис!..

— Ты выпьешь!..

Я обхватил ее одной рукой и другой поднес сосуд к ее губам. Она билась и защищалась с отчаянием. Ее сопротивление — бессмысленное и необъяснимое, как был уверен я — раздражило меня. Я крикнул сторожевых евнухов, велел им держать девушку, концом кинжала разжал ее плотно стиснутые зубы и заставил ее проглотить драгоценную жидкость. Знаком отослал я евнухов и, поддерживая ее, ввел в палатку.

— Останься одна, Агнесса, и одумайся!.. Помни, что нельзя противиться мне!..

Невольницы приняли почти бесчувственную девушку. Приказав уложить ее и не тревожить, я удалился к себе.

ХІІІ

Лишь только солнце показалось над горизонтом и совершен был утренний намаз, как лагерь пришел в движение. Я сел на коня. Впереди меня несли священное зеленое знамя, и рядом с ним развивалось знамя моей дружины. Воины мои, в кольчугах, с блестящими щитами и копьями, ехали впереди меня, и их же отряд охранял повозки моего гарема. Многочисленные воины Мостансера стройными рядами двигались с боков и позади процессии.

Тысячи людей бросались сквозь ряды воинов, чтоб прикоснуться ко мне, и воздух дрожал от громовых кликов приветствия.

Солнце уже поднялось высоко, когда я подъезжал к южным воротам Каира. Здесь ожидали нас новые толпы и сам градоправитель Каира. Сойдя с лошади, он приблизился

ко мне, пал на колена и поцеловал край моего халата.

В крепостных воротах произошла такая давка, что толпе удалось прорвать с боков ряды воинов Мостансера, и тогда началась неопишуемая сцена! Толпы окружили меня, некоторые снимали свои одежды и бросали их под ноги моего коня, другие простирались перед ним сами. На изукрашенных балконах виднелись закутанные фигуры женщин, которым дозволено было взглянуть на Измаила-бен-Алия.

Солнце стояло уже на полдне, когда я, наконец, въехал во внутренний двор жилища Мостансера. Ворота захлопнулись и отделили меня от толпы.

Халиф Мостансер вышел из дворца навстречу мне и приветствовал меня, как верховного имама.

Две недели провел я в Каире, пользуясь гостеприимством Мостансера. Здесь свел я знакомство со многими последователями учения измаилитов, пользовавшимися большим значением. Самых фанатических приверженцев нашел я в лице Абу-Недим-Сарради и шейха Абдалмелик-бен-Аттаха, дая иракского. Этот последний был особенно полезен мне, так как ему известны были все дороги Белуджистана и Испагани. Кроме того, он знал лично и Мегди, владельца Рудбара.

Абдалмелик бен-Аттах говорил мне, что если даже численность войска моего дойдет, вместе с его воинами, до шестидесяти тысяч человек, то и тогда нечего и думать покорить силой Рудбар, защищенный естественными неприступными твердынями. Но он одобрил мое намерение завладеть Рудбаром — это была центральная область между Персией, Египтом, Сирией и Палестиной. Владея Рудбаром, нам представлялась полная возможность направить наши силы в любую сторону, между тем как предполагаемая столица моего будущего государства — замок Аламут — был бы недоступен для вторжения, защищенный горами.

Персией правил в то время Мелик-шах и, хотя область Рудбар и ее правитель подчинены были Персии, но Мелик-шах был человек слабый, нерешительный, и можно было надеяться, что новое государство, мною основанное, успеет

окрепнуть, прежде чем он решится нанести ему решительный удар.

Из Каира я направил свои войска во владения иракского дая, сам же, лишь в сопровождении Бедр-ал-Джемала, направился чрез Алеп и Багдад сухим путем в Кузистан, Езд и Кирман, всюду проповедуя свое учение, но называя себя лишь посланным Измаила-бен-Алии.

Мое странствование продолжалось долго, и только на шестой месяц я достиг, наконец, области Рудбара и стоял перед воротами неприступного замка Аламута. Слух о моем прибытии опередил меня, и Мегди принял меня радушно.

Замок Аламут высился на вершине неприступной горы. Отсюда открывался вид на далекое пространство, и сторожевые, расставленные на высоких башнях, всегда могли предупредить вовремя о приближении неприятеля.

Я с половины пути отослал Бедр-ал-Джемала к иракскому даю с приказанием, чтобы мои воины, по два и по три человека, сходились к замку Аламут, как бы для того, чтоб видеть и услышать посланника Измаила-бен-Алии.

Это не должно было никого удивить, так как действительно по моем прибытии стеклись к замку многие даже из подданных Мегди и расположились обширным лагерем по склонам горы Аламут.

Сам я, между тем, решил ближе ознакомиться с местностью и в особенности с той системой, благодаря которой Мегди умел держать в слепом повиновении своих воинов. Об этом повиновении мне рассказывали чудеса, которым, однако, я не мог верить. Но ближайшее знакомство с Мегди заставило меня воочию увидеть пример подобного повиновения.

Я говорил уже, что Мегди принял меня с почетом. Это дало мне надежду, что, может быть, он согласится добровольно уступить Измаилу наследие отца его Алия. Я вел с даем долгие разговоры об учении Магомета и с удивлением замечал, что он, в сущности, не признает ни закона Магомета, ни то, что тот был посланником Единого Бога.

В одну из таких откровенных, дружеских бесед, когда мы вдвоем гуляли около стен замка, я решил заметить Мегди:

— Прости мою смелость, могущественный, но мне кажется, что ты не признаешь непреложности закона, данного пророком?

Сказав эти слова, я с тревогой взглянул на старика, боясь, что приведу его в гнев.

Но Мегди только улыбнулся и, остановившись, положил руку на мое плечо.

— Ответь мне ты, Гассан (так называл я себя), посланник великого Измаила-бен-Алии, — сказал он, — а ты сам признаешь за истину все, что сказано в Коране?..

Я потупился и молчал.

— Ответь мне, — продолжал старик, — ты веришь басне о том, что Измаил-бен-Алия, как называют этого человека, провел в заточении, без пищи и питья, несколько столетий?..

— Да, повелитель, — вскричал я, в упор смотря на Мегди, — этому я верю, потому что это я знаю!..

Мегди взглянул на меня с удивлением: тон мой был чересчур искренен, чтобы можно было в нем сомневаться и заподозрить меня в намеренной лжи.

— И ты также! — через секунду вскричал старик. — Этот человек сумел убедить и тебя! А право, я считал тебя умнее и учнее, чем ты есть!..

Эти слова задели меня за живое.

— Постой! — отвечал я. — Я не говорю тебе, чтоб я верил в подлинность Измаила, учение которого я проповедую, или в истинность этого учения, но я знаю, что он действительно провел в заточении долгие столетия, без пищи и питья, и вышел, чтоб возвратиться для жизни.

Мегди глубоко задумался.

— Откуда ты знаешь это? — спросил он после долгого молчания.

— Этого я не могу сказать тебе; но верь, что я знаю, а что я знаю, то истинно.

— Может быть! — с некоторым раздражением отвечал Мегди. — Но чего хотите достигнуть вы, проповедуя ваше учение? Не думаете ли вы, что за вами пойдут те, кто служит мне?

— Может быть! — вскричал я, забывая всякую осторожность.

Мегди пытливо взглянул на меня.

— Это хорошо, — сказал он, — что ты не скрываешь своих намерений. Я не стану мстить тебе за откровенность. Но вот что: решил ли ты, в чем заключается моя сила?..

— В твоём учении!..

— В моём учении!.. Не все ли равно — моё ли учение или твоё?

После небольшой паузы Мегди снова обратился ко мне:

— Смотри же, Гассан, — воскликнул он, — гляди на этих полных жизни юношей!..

Он поднял руку по направлению к вершине башни.

Я увидел при этом жесте, как оба часовых перегнулись за ограду. Их белые одежды светлым призраком выделялись между зубцами.

Мегди махнул рукой — и один из часовых ринулся вниз с громадной высоты...

Я замер от ужаса...

Лишь только раздался глухой звук ударившегося об землю тела, как снова Мегди взмахнул рукой, и второй часовой последовал за первым.

— Скажи же, скажи твоему Измаилу, — обратился ко мне Мегди, — пусть он спорит со мной!..

Старец двинулся вперед, по направлению к воротам замка.

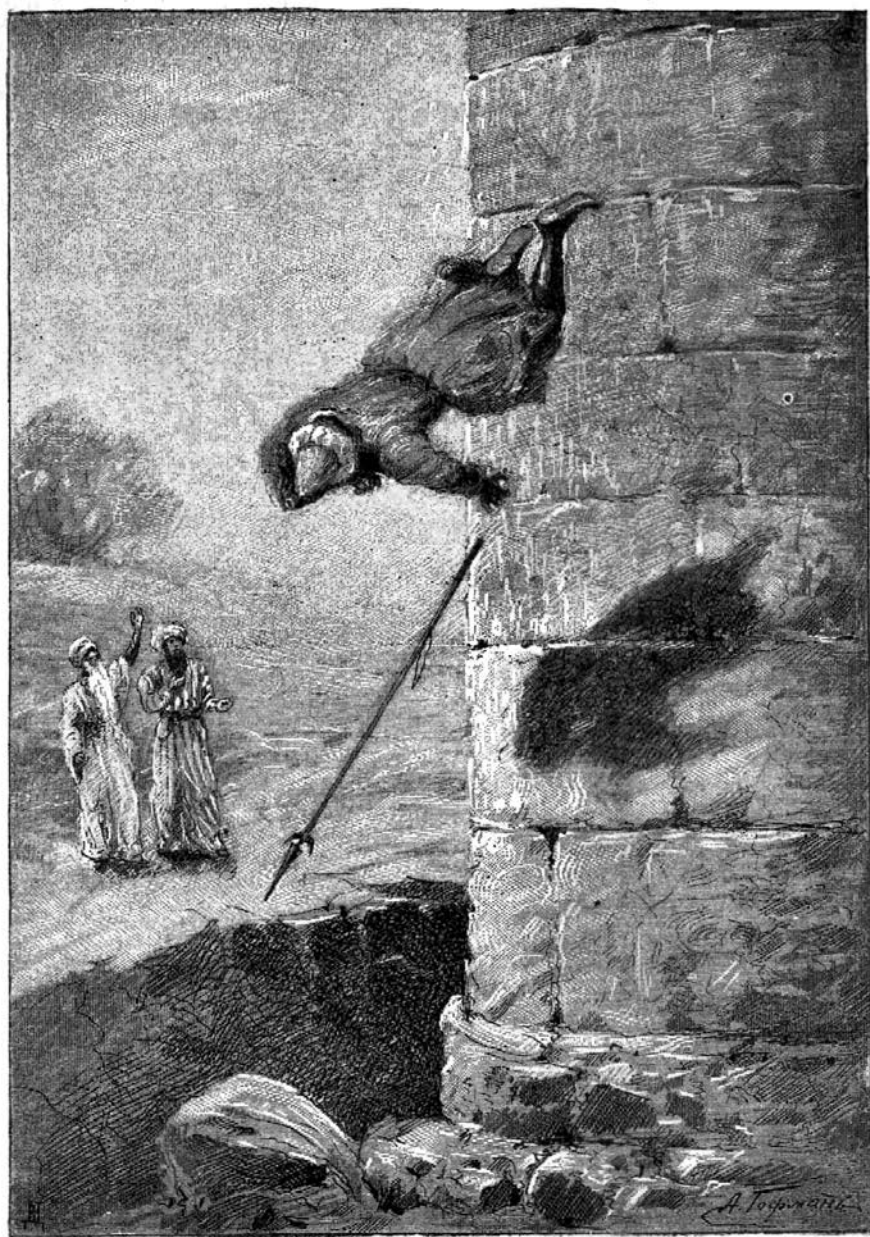
Я последовал за ним, не имея силы произнести ни слова.

Мы прошли мимо бесформенной массы, в которую обратились тела двух юношей.

В молчании приблизились мы к воротам, из которых уже выходили служители, чтобы убрать тела убитых.

— Приходи на пир ко мне, гость мой Гассан! — перед лестницей своего дворца сказал мне Мегди. — Я покажу тебе, и ты сам испытаешь, что такое блаженство, обещанное мною правоверным! Придешь?..

— Приду!.. — отвечал я.



...один из часовых ринулся вниз с громадной высоты...

Мегди поднялся на несколько ступенек, между тем как я, все еще не будучи в состоянии прийти в себя, оставался недвижим на одном месте. Я не мог оторвать взоров от этого старика: в одно и то же время в душе моей пробуждалась и ненависть к нему, безотчетная ненависть, и захватывающая злоба — и в то же время я готов был броситься к его ногам...

Таково обаяние могучей силы, в чем бы она ни выражалась.

А старик, поднявшись на несколько ступеней, вновь обернулся ко мне.

— А знаешь ли ты, Гассан, — спросил он, — кто были те юноши?

— Твои служители?..

— Мало того, — то были... мои *сыновья!*..

С этими словами он скрылся в дверях своего жилища.

XIV

Я вернулся в отведенное мне помещение. Я страдал и сомневался. Еще немного времени тому назад мне казалось ничтожным пролить человеческую кровь, пожертвовать многими жизнями для того, чтоб осуществить свои планы. Я думал, что для этого нужны только твердое намерение и сильная воля.

И вот я увидел лицом к лицу жертвы, принесенные неизвестно для чего.

Что это было?.. Жестокость, превосходящая всякие границы?.. Желание вызвать в другом удивление и тем потешить свое тщеславие?

Ни того, ни другого я не мог допустить со стороны Мегди.

Оставалось предположить, что в его глазах и его собственная жизнь, и жизнь всех людей не имела никакой цены. Для него — потому, что он не видел ее цели, и смысл ее был для него скрыт. Для других — потому, что он же,

внушив им живую надежду на будущее, приучил смотреть на земную жизнь, как на досадное препятствие к вечному блаженству.

Теперь только понял я, сколько нужно веры в необходимость, в истинность и справедливость своих действий, чтоб спокойно жертвовать человеческой жизнью. Я содрогался и хотел было отказаться от всего, бежать от деятельности и в тишине и отдалении предаться науке, которая одна могла открыть мне путь истины...

Но тут в ушах моих как бы вновь прогремели приветственные клики толпы, торжественно встречавшей меня в Каире, и — таково сердце человеческое — жребий мой был безвозвратно брошен!..

Я с нетерпением стал ожидать вечера, когда Мегди обещал показать мне чары, которыми он прельщает своих последователей и рабски подчиняет их своей воле.

Все измаилиты, принимавшие учение Мегди и повиновавшиеся ему, как наместнику Измаила, сына Алиа, разделялись на три класса: даев, рефиков и федаев.

Даи* составляли первый и важнейший класс. На них, как и вообще у всех измаилитов, возлагалась обязанность распространять учение секты.

Они рассеивались по всем странам и всюду вербовали прозелитов. Между даями были еще свои подразделения: *дай-элдоаты* и *дай-даи*. Эти последние имели в своем распоряжении многих даев и были как бы начальниками миссионеров известной области.

Рафиками назывались все те, кто не имел определенной должности и лишь исповедовал учение измаилитов.

Федаи были именно те, кто находился в непосредственном распоряжении Мегди. Они-то именно были обязаны всецело, слепо подчиняться его воле, ее одну признавая за единственный, данный человеку закон. Исполнение воли повелителя влекло за собой достижение вечного блажен-

*) Dai (дай) — причастие арабского глагола, собственно значащее — *призывающий*.

ства — только это одно. Ничто другое, никакие подвиги, никакие молитвы не могли открыть для федаев дверей рая.

Все войско Мегди состояло из федаев; их он посылал на службу к другим властителям, где они скрывали свою принадлежность к измаилитам, и чрез них знал все, что совершалось на всем Востоке

Одного слова Мегди было достаточно, чтоб любой из повелителей Востока пал бездыханным под ударами находившихся у него на службе, но неизвестных ему, страшных федаев!..

Как достигал Мегди подобного презрения к смерти со стороны своих подчиненных?..

Я должен был это узнать и с замиранием сердца вступил в чертог, где готовился пир, на который был приглашен властителем горы Аламут.

С восточной стороны замка, где гора обрывалась неприступным обрывом, раскинуты были сады властителя, в которые запрещен был вход даже федаям. Эти сады обнесены были высокими каменными стенами. Кто жил за этими стенами, тот не имел никакого сообщения с остальным миром. С восточной террасы дворца, где было приготовлено место для пиршества, открывался вид на эти сады. Но и отсюда виднелись лишь кущи высоких деревьев да доносился чудный аромат цветов, но во внутренность таинственных мест не мог проникнуть ничей взор.

Когда служители провели меня на террасу, я застал уже там многих даев, возлежавших вокруг уставленного яствами низкого стола. Между ними я заметил белые одежды нескольких молодых федаев.

Мегди возлежал на отдельном возвышенном месте.

Он встретил меня ласковым приветом, и на лице его я не заметил ни малейшего смущения... Как будто не он сделался сегодня убийцей своих родных сыновей!..

— Здравствуй, Гассан! — милостиво сказал он. — Займи место за столом! Ты знаешь, что наши обычаи не вполне сходятся с обычаями, принятыми на Востоке!.. Жил некогда мудрый и прекрасной народ, которого ты, конечно, не знаешь — то были эллины!.. Они умели жить и умели пи-

ровать!.. На пирах они возлежали, увенчанные цветами — и мы следуем их обычаю!..

— И в Египте, повелитель, в древнем свободном Египте, был обычай возлежать на пирах — хотя, впрочем, он перешел туда действительно от эллинов, — отвечал я, занимая указанное мне место, в то время как прислужник осыпал мое ложе цветами и надел на мою голову венок из роз.

— Ты — образованный человек, Гассан! — с некоторым удивлением воскликнул Мегди. — Немногие из нас — даже едва ли кто-нибудь — знает о древних египтянах и эллинах!. Да, эллины обожали прекрасное и поклонялись ему!..

— Они сами, повелитель, — невольно заметил я, — были прекрасны, как день, а их песни звучали как музыка...

— Неужели ты знаешь по-гречески, по-древнегречески? — вскричал Мегди.

— Знаю, повелитель!..

— Воистину, ты учен, Гассан! Тогда спой нам одну из этих песен.

Служитель подал мне лютню, подобную той, на которой учили играть нас, «воспитанников Фараона».

Я взял аккорд и своим звучным, полным силы голосом запел грустную, но величественную песнь о гибели священного Илиона.

Мегди поник главою и слушал меня в молчании, но по лицу его было видно, что пение мое производит на него глубокое впечатление.

Остальные слушали меня скорее с любопытством, чем с удовольствием. Я пел рапсодию за рапсодией, и всякий раз, как я останавливался, Мегди кивал мне головой и с ласковой улыбкой говорил:

— Еще, Гассан, еще!..

Наконец, голос мой стал прерываться, и пальцы с трудом перебирали туго натянутые струны.

— Спасибо тебе, Гассан! — воскликнул Мегди, — ты умен и учен! Ты доставил мне истинное удовольствие!.. Оставь Измаила и живи у меня!.. Право, ты не раскаешься!..

Я улыбнулся этому желанию и с подобающим почтением отвечал:

— Благодарю тебя, повелитель, но я обещал служить тому, кому служу...

— Тебе должны служить, Гассан! — с ударением вскричал Мегди. — Впрочем, подождем, — что-то ты ответишь мне чрез два-три дня!..

Он усмехнулся, еще раз взглянул на меня, прищулив свои блиставшие умом глаза, и хлопнул в ладоши. По этому знаку прислужники тотчас поставили на стол дымившиеся блюда и наполнили кубки вином.

— Тебе придется довольствоваться водой, бедный Гассан! — воскликнул, смеясь, Мегди, — хотя ты и принадлежишь к измаилитам, но ведь и им запрещено употребление вина, — это только мы разрешаем себе пользоваться всем, что служит к услаждению жизни!..

— Нет, повелитель, — возразил я, подставляя свой кубок виночерпию, — Измаил бен-А.лия отменил неправильно введенный суннитами в Коран закон, по которому правоверным воспрещено употребление благородного напитка! Позволь же и мне осушить кубок во здравие твое и твоих верных сынов!

Я поднес было кубок к губам, но остановился, заметив, как внезапно нахмурился Мегди.

— Пей, Гассан, пей! — сказал он, заметив мое смущение. — Только, — к удивленно моему, прибавил он на чистом языке эллинов, — только теперь я начинаю думать, что называющий себя Измаилом действительно мудр и умеет играть страстями человека! Берегись, Гассан!.. Его мудрость может быть опасна мне, но еще опаснее она для него самого!.. Или, может быть, это ты направляешь поступки наместника Магомета?

— Я только советую, повелитель! — смиренно отвечал я.

— Тогда лучше оставайся при мне, Гассан!.. Впрочем, я спрошу тебя после!.. Пейте же!.. — закончил он по-арабски, обращаясь уже ко всем присутствовавшим.

С каждым осушенным кубком все большее и большее оживление проявлялось между пирующими. Всех возбуж-

деннее казались молодые федаи. Их глаза блестели как у безумных, речи становились все несвязнее и страннее. К удивленно моему, я услышал, как один из федаев вполголоса спросил другого:

— Как ты думаешь, допустит ли нас сегодня повелитель перенестись в райскую обитель?..

— Я думаю, что так!.. — блистая радостным взором, отвечал другой.

Итак, подумал я, мудрый Мегди действительно умеет на земле показывать своим подданным рай, приготовленный для правочерных!.. Только где же этот рай?..

Не в этих ли таинственных садах?..

Взор мой обратился к высоким стенам, из-за которых выставлялись зеленые вершины деревьев, серебровишиеся при свете месяца, и откуда доносился до нас аромат цветов.

— Вероятно, там! — решил я, и, как бы в подтверждение моих слов, за стенами послышались звуки тихой музыки, и стройный хор свежих женских голосов покрьл говор пирующих.

Все смолкли при первых звуках. Молодые федаи были поражены больше всех: они замерли, веки их приковались к стенам сада, и грудь тяжело дышала...

Оживились при звуках этого пения и суровые, пожилые дан. На лицах их отразилось то же волнение, которое охватывало и полных жизни юношей.

Звуки музыки и пения становились все слышнее и слышнее, как бы приближаясь к нам. Служители вновь наполнили кубки, и Мегди, приподнявшись со своего ложа, воскликнул:

— Выпейте, дети!.. Вино улаждает жизнь!.. Пейте!..

Он сам осушил кубок, и все, в том числе и я, с громкими криками восторга последовали его примеру.

Мегди хлопнул в ладоши. В то же мгновение площадка, лежавшая перед террасой и примыкавшая к стенам, огораживавшим сады, осветилась множеством факелов. Девушки в белых одеждах сменили прислужников и осыпали нас дождем цветов. Среди ярко освещенной площадки забил

высокий фонтан и рассыпался тысячами игравших всеми цветами и сверкавших брызг водяной пыли...

Я чувствовал, как голова моя начинает кружиться и от выпитого вина, и от одуряющего аромата цветов, и от яркого света, и от этого все громче и громче звучавшего усадительного нения.

Все начинало в моих глазах сливаться в одну чарующую, волшебную картину. Мои чувства как бы вдруг приобрели необычайную остроту, сердце судорожно билось, кровь обращалась быстрее и быстрее, и вместе с тем сладостное чувство жизни, какой-то беспричинной радости переполняло мою грудь и охватывало все мое существо.

Но вот высокая стена сада, ярко освещенная светом факелов, вдруг раздвинулась, и оттуда, из темной глубины, казалось мне, выпорхнул рой чудных видений... Одна другой прекраснее, в упоительном танце, носились перед нами толпы танцовщиц, сверкая золотом и драгоценными камнями, то сплетаясь в длинные вереницы, то разбиваясь живописными группами вокруг фонтана...

Мне казалось, что ноги их не касаются земли, что сами они реют в дрожащей воздушной сфере, что свет факелов не отражается от них, но как-то дивно проходит сквозь их одежды и тело...

Сладостный восторг охватывал меня все с большею и большею силой. Казалось, мое тело не имеет веса, и сам я точно несусь вслед за этими мелькающими передо мной прекрасными видениями.

Мелодия пения звучала все нежнее и страстнее. Тише становился и звон аккомпанировавших ей лютней, как бы замирая где-то вдали. Вместе с тем плавнее и тише делались движения танцовщиц...

С трудом оторвал я свой взор от чудной картины и взглянул на пирующих. О, какие лица увидел я!.. На каждом из них отражалась такая энергия, такое страстное одушевление, что даже пожилые даи выглядели юношами: взоры их сверкали огнем, щеки горели румянцем, свежие венки из роз покрывали их раскинутые по плечам волосы...

Да, то был жизнерадостный праздник, на котором человек праздновал свою тесную связь с землей и не хотел знать ничего, кроме этой земной жизни и ее скоро проходящих, но захватывающих наслаждений!..

Юные прислужницы, блиставшие красотой, внесли чаши с благовонным курением. Наркотический дым облаками поднимался из чаш, расплывался в упоенном ароматами цветов воздухе и легкой синеватой пеленой заслонял пламя светильников.

Одна за другой танцовщицы оставляли площадку и, вбегая на террасу, опускались около ложа пирующих на ковры живых цветов.

Но музыка лютней по-прежнему звучала в отдалении, чаруя и убаюкивая слух...

Еще раз наполнились кубки и еще раз, как в тумане, прозвучал голос старого Мегди:

— Пируйте!.. Верных мне ожидает вечное блаженство, лишь слабый намек на которое дает вам настоящее.

Голова моя закружилась, в глазах потемнело, и я склонился к изголовью своего ложа.

Я не ощущал никакой боли, ни даже усталости. Какая-то сладкая истома охватила мое тело и лишила меня всякой воли над собой. В ушах моих раздавались звуки музыки, я обонял чудный аромат, но мне не хотелось двигаться... С каким-то сладким замиранием, чудилось мне, я быстро лечу вниз со страшной быстротой или точно качаюсь на мягких, колеблющихся, ласкающих меня волнах...

С трудом приподнимаю я веки, озираюсь вокруг — и не могу понять, во сне я или наяву: мягкий свет ласкает мои взоры, та же мелодия лютней звучит в ушах, но я уже не вижу пирующих, и перед глазами моими лишь высятся стены цветочного шатра...

Мое ложе тоже осыпано цветами... А там, вокруг меня, тихо двигаются в такт музыки, цветами же увенчанные, воздушные видения, то приближаясь ко мне, то отдаляясь от меня...

Весь полный неизъяснимого восторга, я простираю к ним руки...

И вот одна из них отделяется и приближается ко мне...
Я приподнимаю голову и вперяю в нее свой пылающий
взор...

— Агнесса! — восклицаю я, — моя Агнесса!..

Я беру ее за руку, вижу ее, ощущаю... И она тихо скло-
няется к моему изголовью...

XV

Когда я открыл глаза, первое, что я заметил, была зна-
комая обстановка помещения, занимаемая мною во двор-
це Мегди.

Смутно припоминал я пиршество, и вдруг вспомнил все
происшедшее со мной.

— Агнесса! — воскликнул я, приподнимаясь. Но вместо
нее к изголовью постели приблизился, к несказанному мое-
му удивлению, мой верный Бедр-ал-Джемал и, став на ко-
лени, поцеловал край моего одеяла.

— Будь здрав, повелитель, — приветствовал он меня. —
Агнесса, твоя невольница, и другие твои жены и неволь-
ницы целуют прах ног твоих!.. Все они остались, согласно
твоему приказанию, под охраной и надзором дая иракско-
го!..

— Как? — вскричал я, — но Агнесса была со мной!..

— Господин мой! — с сокрушением проговорил Бедр-
ал-Джемал, — ты изволил быть на пиру Мегди!.. Гашиш
ввел в усыпление твои чувства!..

Гашиш!.. Это слово объяснило мне все — и мое непо-
нятное возбуждение и чудные грезы...

Но неужели то были только грезы?..

— Нет! — вскричал я, — я видел ее!..

— Повелитель, ты принял за Агнессу одну из невольниц
Мегди!

Я подавил вздох, готовый вылететь из моей груди...

— Но ты, мой верный Бедр-ал-Джемал, — как очутился
ты здесь?..

— Согласно твоему велению, господин! Пять тысяч преданнейших и отважнейших из людей твоих собрались около крепости и готовы броситься на нее по первому твоему знаку!..

Мысли мои, наконец, прояснились, и я вспомнил все отданные мною приказания.

— Благодарю тебя, храбрый Джемал, — сказал я, — но нельзя отплатить злом за оказанное нам гостеприимство.

— Как! — в испуге вскричал Джемал, — повелителю угодно оставить крепость во владении Мегди?..

— Нет, Джемал, я не хочу только без нужды употреблять насилие... Мы достаточно богаты. Попробуем, не продаст ли он нам замка?..

— Этого никогда не будет, повелитель!...

— А все-таки попробуем! — отвечал я, поднимаясь с постели.

Джемал с благоговением бросился мне прислуживать.

— Как только я пойду к Мегди, вели людям приблизиться под каким-нибудь предлогом к воротам крепости, — приказывал я Джемалу. — Возьми с собой троих отважнейших — ты вместе с ними будешь присутствовать при моих переговорах с Мегди. Если он продаст крепость и потом откажется от договора — тогда мы вправе будем употребить силу!.. Пусть воины готовы будут по первому знаку ринуться в крепость!.. Да не забудь скрытно пронести с собой зеленое знамя пророка!..

Джемал, видимо, сомневаясь в моих словах, тем не менее поспешил исполнить мои приказания. Через два часа он явился ко мне в сопровождении трех воинов.

— Веления твои исполнены! — сказал он.

— Хорошо, Джемал... Следуйте за мной!..

В сопровождении своей свиты я торжественно приблизился к дворцу Мегди и велел сказать ему, что посланный Измаилом желает видеть его, чтобы поблагодарить его за гостеприимство и отправиться в дальнейший путь.

Мегди вскоре показался из дворца сам и подошел ко мне.

— Что с тобой, Гассан?—с удивлением воскликнул он.
— Почему хочешь ты так скоро покинуть меня?.. Или тебя оскорбили чем-нибудь?..

— Нет, господин!.. Но каждый, неймущий даже клочка земли, гость в каждом месте!.. А гости уходят рано или поздно!..

Мегди на минуту задумался.

— Ты, Гассан, ты хочешь, по-видимому, чтобы я подарил тебе во владение участок земли? На этом условии ты остаешься у меня?..

— Я был бы тогда счастлив, господин!..

— Ты был бы доволен клочком земли?..

— Даже таким, какой может покрыть воловья шкура!..

— Поистине, твое желание умеренно! Если бы землю просил у меня не ты, а твой господин — он не получил бы ее!.. Но тебе я согласен подарить...

— Продать, господин!... Я внесу выкуп!..

— А, ты не хочешь, чтобы я зачислил тебя в число федаев!.. Какой же выкуп можешь ты внести?

— Тысячу золотых монет!..

— Тысячу золотых монет?.. А если я в самом деле за эту цену дам тебе столько земли, сколько может покрыть воловья шкура! Будешь ты доволен?..

— Буду, господин!..

— Ну, — со смехом вскричал Мегди, — давай твое золото!.. Я торжественно предоставляю тебе право за эту сумму не только выбрать по произволу, где ты хочешь, столько земли, сколько может покрывать воловья шкура, но, кроме того, возвожу тебя в звание дая!.. Принимаешь ты?

— Принимаю, господин! — серьезно отвечал я, взяв от Джемала кошель с золотом и передавая его Мегди. — Прикажи принести шкуру вола.

Со смехом Мегди отдал приказание.

— Выбирай место, Гассан! — воскликнул он, когда шкура была принесена.

Я пошел за ворота крепости вместе с Мегди; моя свита последовала за мной.

— Одно мне не нравится, — заметил Мегди, увидев громадные толпы, покрывавшие склон горы, — это присутствие стольких правоверных, пришедших, чтобы видеть тебя! Берегись, Гассан!..

— Все приходят, повелитель, — отвечал я, — чтобы в моем лице приветствовать Измаила-бен-Алию. Но ведь и ты его потомок. Следовательно, эта честь по праву принадлежит также и тебе...

— Хорошо, Гассан, это слишком хорошо и чересчур много почести для меня... я прошу тебя все-таки отослать твоих поклонников! — усмехаясь, заметил Мегди.

Бедр-ал-Джемал сделал незамеченный Мегди знак, и две тысячи отборных из моих людей, как бы увлеченные порывом восторга, с громкими криками приветствия, придвинулись к нам и заняли все пространство между открытыми воротами крепости, из которых мы уже успели выйти, и склоном горы.

— Ну, Гассан, — вскричал Мегди, — выбирай место! Договор заключен!

Мне подали шкуру. Наша небольшая группа стояла в стороне от толпы. Я достал острый, тонкий нож, всегда носимый при кинжале и, при помощи Бедр-ал-Джемала, разрезал шкуру по толщине на два слоя. Таким образом, у меня образовалось две шкуры. Затем я тем же ножом стал резать кожу на тончайшие ремешки, приказав одному из своих людей связывать их вместе.

Мегди побледнел и, выхватив у слуги кошель с золотом, положил другую руку мне на плечо.

— Возьми твое золото, Гассан! — воскликнул он. — Я вижу, ты затеваешь какую-то хитрость, хотя я и не знаю на верное, что ты придумал, но боюсь, что твоя затея кончится для тебя очень плохо!

— Позволь, повелитель, продолжать мне мою работу. Согласно твоему позволению, я возьму во владение столько земли, сколько обхватит воловья шкура, но только разрезанная на тонкие ремешки!..

Мегди усмехнулся.



Я стал резать кожу на тончайшие ремешки...

— Ты перехитрил меня, Гассан! — воскликнул он. — Что делать — кончай твою работу и выбирай самый плодоносный участок!..

Стены крепости все сплошь заняты были федаями Мегди, с любопытством наблюдавшими за моей работой. Мои люди также в нетерпении, едва сдерживаясь, придвигались все ближе и ближе.

Мегди, решив, что я просто хотел купить обширнейший из участков, отведенных для даев, — усмехаясь, следил за тем, как росла куча тонкого ремня.

Наконец, работа была кончена, и я поднялся от земли.

— Готово! — вскричал я. — Бедр-ал-Джемал и вы — обратились я к стоявшим около меня — оцепите крепость этим ремнем — согласно уговору, я ее выбираю и беру во владение!..

Слова мои долетели до слуха фedaев, стоявших на стенах, и до моих людей: с одной стороны раздался глухой ропот, а с другой раздались громкие крики восторга.

— Изменник, — заревел Мегди, выхватывая кинжал и бросаясь на меня, — изменник Гассан!

— Не Гассан — нет! — воскликнул я, вырывая кинжал и повергая Мегди на землю — я наместник пророка, Измаил, сын Алия!.

В ту же секунду надо мной развилось священное зеленое знамя пророка, выхваченное Бедр-ал-Джемалом, и две тысячи моих людей ворвались в крепость, в то время как остальные придвинулись ко мне стройными рядами.

Федая, бросившиеся было на помощь Мегди, замерли на своих местах, не зная, на что решиться: они повиновались слепо Мегди, но они видели в Мегди только наместника Измаила-бен-Алия, они все называли себя измаилитами, и все жили надеждой на появление Измаила!

И вот он стоит перед ними под сенью священного знамени, наступив ногой на грудь поверженного Мегди!..

— Федая! — воскликнул я. — Настало славное время для верных мне! Сын Алия явился, чтоб вести вас к могуществу и победам, чтоб вознаградить вас за долгое ожидание!.. Пойдете ли вы за ним, — указал я на Мегди, — или же

за мною, давно вами ожидаемым...

— Пусть царствует повелитель верных, Исмаил-бен-Алия!
— раздался громовой возглас моих людей.

— Да здравствует Исмаил-бен-Алия! — отозвались все еще нерешительные голоса федаев.

Мегди сообразил, что дело его проиграно: над ним был уже занесен кинжал Бедр-ал-Джемала, и крики федаев страшной угрозой прозвучали в его ушах.

— Пощади, повелитель, раба твоего! — воскликнул он.
— Как мог я знать, что в лице Гассана вижу перед собой сына Исмаила...

Я невольно усмехнулся, вспомнив отзывы умного старика о называющем себя Исмаилом-бен-Алией.

— Встань, Мегди! — сказал я. — Ты бы заслуживал смерти, как заслуживает ее всякий, хотя бы и неумышленно поднявший руку на наместника пророка!.. Но я прощаю тебя!.. Встань!

Мегди встал и, распростершись передо мной по обычаю, поцеловал полу моей одежды.

При виде этого воздух задрожал от восторженных кликов федаев, сбегавших со стен, чтоб приветствовать меня!..

Я был признанным владельцем Аламута и области Рудбар, я вступил во владение наследием отца моего Алия!.. В сопровождении ликующей толпы вступил я в крепость и направился к жилищу Мегди, которое должно было сделаться отныне моим жилищем.

— Ты умный старик, Мегди! — шепнул я ему по-гречески, когда поднимался с ним и своими приближенными по ступеням лестницы.

— И ты умный, очень умный, Гассан, Исмаил или кто бы ты ни был! — усмехнулся Мегди.

XVI

Весть о моем появлении и о занятии мною замка Аламута и области Рудбар всюду распространилась с быстро-

тою молнии. Со всех сторон являлись ко мне подвластные мне даи, чтоб выслушать мои приказания и передать их федам, находившимся на службе во всех областях Персии, Сирии и Палестины. Я имел теперь сведения обо всем, что делается и замышляется при дворе каждого властителя, не исключая и княжеств, основанных крестоносцами и уцелевших еще до сей поры.

Мелик-шах, властитель Персии, встревожился, узнав обо всем происшедшем в подвластной ему области; волнение его подданных, в большинстве принадлежавшим к измаилитам, вынуждало его принять крайние меры, и мне было сообщено, что войска его стягиваются в пограничные с Рудбаром области, чтоб нанести мне решительный удар. Мне стоило сказать слово — и находившиеся при дворе шаха федаи тотчас бы лишили его жизни.

Это было обычное средство, которым Мегди ограждал свою безопасность и которым он упрочил свое могущество. Но я не хотел прибегать к подобному средству; цель, стоявшая передо мной, не казалась мне такой необходимой, чтоб ради нее решиться бестрепетно убить человека.

Одному из федаев, находившемуся при дворе шаха, я приказал тайно пробраться ночью в его спальню и, воткнув у изголовья постели кинжал, положить записку.

«Мелик-шах, — говорилось в этой записке, — жизнь твоя в руках Измаила-бен-Алии, владельца Аламута. Кинжал мог поразить тебя, но он миновал твое сердце, потому что Измаил не хотел твоей смерти. Но берегись: с каждым шагом, который ты делаешь против Измаила, ты приближаешься к смерти!»

Через месяц ко мне явилось посольство от Мелик-шаха, и заключен был договор, по которому область Рудбар отдавалась в мое владение. Я мог бы теперь направить свой взор на другие провинции Персии и легко подчинить их своей власти, но меня влекло в другую сторону: там, в Сирии и Палестине, лежали владения неведомого мне народа, исповедовавшего религию Христа. В другой стране света лежали их государства. По всему, что сообщено было мне Агнессой и учеными из моих даев, я видел, что там, в

этих неведомых мне странах, жизнь идет иначе, чем на Востоке, что другие начала легли в основу этой жизни.

Я — человек без религии, не имевший даже отдаленного идеала истины и потому не признававший никакого закона — я каким-то непонятным образом чувствовал, что там, на далеком Западе, мне, после долгих лет мучительной борьбы, суждено в награду приобрести и веру и признание нравственного закона...

Я не признавал учения Христа за откровение, но даже при малом знакомстве с религией христианской я видел, что все, что есть хорошего в магометанстве, почерпнуто из учения Христа, а все неопределенное, туманное мирозерцание внесено в него учениями Будды или Сакия Муни.

Да, я считал учение христианское за совершеннейшую философию. Но я не признавал его за богооткровение, и потому не было для меня закона, и не было религии...

Чем могли направляться мои действия и к чему должны были они приводить?

Цель ускользала от меня, и смысл жизни терялся.

Я хорошо знал, что считают за истину последователи Магомета, я помнил, как складывалась жизнь народов Востока под влиянием их религиозных верований.

Но ни закон Магомета, ни эти верования не были для меня истиной... Там, в новом мире новых народов, хотел я проложить свои первые шаги на пути к истине...

Я жаждал узнать все, что только мог, про историю и устройство западных государств.

Я не только жаждал видеть Агнессу, но и слышать ее.

После захвата крепости я тотчас отправил Бедр-ал-Джемала к иракскому даю с приказанием немедленно доставить в Аламут моих жен и невольниц.

С каким нетерпением ожидал я прибытия Агнессы! С каждой минутой время для меня тянулось все медлительнее, и ничто уже не могло оторвать меня от единственного помысла и единственного желания, овладевшего мною.

Наконец, желанный миг настал — и Агнесса стояла передо мной.

Что-то новое появилось в выражении ее лица с тех пор, как я не видал ее: печаль и задумчивость виднелись в ее взоре и резче стала ее грустная улыбка. Когда ее привели ко мне и мы остались вдвоем, я несколько мгновений не мог произнести ни слова.

И ее щеки было вспыхнули румянцем и радостью блеснул взор. Но тотчас и прошло все, задернутое прежним грустным облаком.

— Какое счастье видеть тебя! — наконец, воскликнул я, пытаясь прижать ее к моей груди.

— Оставь, Аменопис! — воскликнула она, освобождаясь, — помни—я не для тебя!..

При этом неизменном ответе вновь вспыхнуло во мне негодование и оскорбленное самолюбие.

— Для кого же, — вскричал я, — если ты любишь меня?.. Помни, твоя жизнь так же долга, как и моя... Умрут десятки, сотни поколений — но мы, мы будем еще жить...

— Не напоминай об этом, — прервала она меня, — страх наполняет мою душу при этой мысли...

— Страх? Страх перед жизнью?.. Полно, Агнесса!.. Я слишком кроток с тобой!.. Я — твой господин!.. Одумайся!.. Помни, что через день ты станешь моей женой!..

Она побледнела, как брошенное на ее плечи покрывало. Взор ее сверкнул знакомым мне огнем.

— Никогда!.. — воскликнула она, выпрямляясь.

— Сегодня!.. Сейчас!..—вскричал я, делая шаг к ней.

Я не знаю, что было бы дальше. Но в эту минуту троекратный стук раздался из-за занавесы, прикрывавшей дверь.

Я пришел в себя, услышав этот стук.

На мой отзыв на пороге показался Бедр-ал-Джемал.

— Что случилось, Джемал? — спросил я. — Как осмелился ты взойти?..

— Прости, повелитель, — отвечал начальник моих войск, — но прискакал гонец от сторожевых отрядов — войско франков находится в шести часах пути от Аламута.

Крик вырвался из груди Агнессы. Я понял, что его вызвало, и наполовину с горестью, наполовину с негодованием воскликнул:

— Не думай, что свобода ожидает тебя!.. Как тростник перед порывом бури, сломятся под моей рукой твои франки!.. Если же победа будет не на нашей стороне — то все-таки ты не уйдешь от меня!.. Если ожидает меня смерть — то умрешь и ты!..

Отдав приказание увести Агнессу и бдительно стеречь ее, я быстро надел вооружение и поднялся на сторожевую башню.

— Ударьте тревогу! — приказал я часовым.

Посреди башни утвержден был громадный медный диск, ударяя в который, часовые созывали в крепость федаев, живших в ближайших к замку селениях.

Загудела медная громада, и вскоре склоны горы покрылись всадниками и пешими, в полном вооружении спешившими к замку.

Гарнизон уже занимал свои места на стенах; в громадных котлах, помещавшихся на особо выстроенных очагах, растапливалась уже смола и свинец, кипятилась вода и накаливался песок, — все это должно было обрушиться на головы врагов, если б они решились на приступ.

Я пошел по стенам, осматривая порядок, как вдруг позади меня раздался голос:

— Повелитель, не лучше ли выйти навстречу франкам, чем ожидать их здесь?..

Я обернулся.

Позади меня стояла фигура старого Мегди, облеченного в ратные доспехи.

— И ты, старик, собрался воевать? — с улыбкой воскликнул я.

— Почему же нет, повелитель?.. Луна и крест ведут кровавую борьбу между собой!..

Эти слова Мегди и тон, которым они были сказаны, нашли живой отклик в моем сердце.

Я положил руку на плечо старика и сказал:

— Хорошо, Мегди, сражайся!.. Но помни — и потерянное может возвратиться! Эти слова были мне некогда сказаны мудрым человеком — и я на себе испытал их справедливость!..

Мегди загадочно улыбнулся и последовал за мной вдоль стены.

Скоро все было готово к бою, и ворота крепости затворились. Федаи из отдаленных селений должны были собраться в определенных заранее местах и действовать соответственно сигналам, подаваемым им со сторожевой башни или же чрез посланных, если бы представлялась возможность пробраться из крепости.

Таким образом, осаждающие Аламут неизбежно должны были иметь неприятеля и в тылу у себя, и с боков.

Прошел еще час ожидания, и прискакал новый гонец.

— Повелитель, — сообщил он, — отряд неверных, числом около пяти сотен, расположился на холмах, не вступая в горы. Их начальник один, в сопровождении лишь нескольких человек, едет к замку с ветвью в руках. Что повелишь ты сделать?..

Ветвь в руках служила знаком мирных намерений и желания вступить в переговоры.

Я видел в своих людях явное желание сразиться. Но я не имел никакого повода объявлять войну христианам и потому приказал провести их в замок.

С высоты стены я в нетерпении ожидал прибытия этих, никогда не виданных мною людей.

— Повелитель, — раздался голос Мегди, — у нас нет никого, кто бы понимал язык неверных... Я слышал, что у тебя есть невольница-христианка... Но прилично ли при ее помощи вести переговоры, и не изменит ли она нам?..

— Не беспокойся, Мегди, — улыбнулся я, — я сам буду говорить с неверными...

— Ты, повелитель?..

— Я.

— Неужели же тебе известен их язык?..

— Известен, Мегди!..

— Мудрость твоя не имеет границ, повелитель! — воскликнул искренне удивленный Мегди, смотря на меня с нескрываемой подозрительностью.

Я хотел было сказать ему в ответ несколько слов, но в эту минуту раздался из ущелья, по которому вела дорога,

громкий, протяжный, троекратный звук военной трубы.

Я вздрогнул и направил взоры в ту сторону, откуда должны были появиться неведомые мне люди, пришельцы из далекой, чуждой земли.

Вот из расщелины горы показалось сверкнувшее на солнце острие копья и вслед за тем, на могучем, осторожно ступающем по неровной почве коне, выехал всадник — за ним другой, третий... Все они были закованы в латы, лица их были прикрыты спущенными забралами шлема.

При виде этих всадников живо встал передо мной чудный сон, который я видел бесконечно давно и от которого пробудил меня звучавший ужасом голос Ненху-Ра...

Да, именно таких воинов и в таком вооружении видел я, обративших в бегство рать мусульман!..

И я сражался в их рядах...

Невыразимое волнение охватило меня, и вдруг мне почудилось, что те люди, приближавшиеся ко вратам моей крепости, несравненно ближе мне, чем окружающие меня и готовые по малейшему моему знаку пожертвовать жизнью!

С трудом скрывал я свое волнение.

Вот снова прозвучала труба, и в ответ ей взвилось над стеной знамя и распахнулись настежь ворота.

— Мегди, — приказал я, — проводи вместе с Бедр-ал-Джемалом неверных на террасу дворца. Я буду ожидать их там...

Я поспешно сошел со стены, прошел чрез дворец и, войдя на террасу, опустил на свое лицо сетку из стальных колец, прикрепленную к моему шлему. Я не хотел, чтоб кто-нибудь видел мое лицо.

Прошло немного времени, как раздались в зале, выходящей на террасу, тяжелые, грузные шаги закованных в сталь и железо людей.

Чрез секунду передо мной стали два воина, — один, по-видимому, начальник, высокого роста и в шлеме с развевающимися перьями, другой, ниже его, кроме своего щита, держал в руках и щит своего господина.

— Добро пожаловать, рыцари! — обратился я к ним на языке франков, — я рад, что не с оружием в руках приблизились вы к моему замку!..

Оба рыцаря переглянулись между собою при этой речи, но ничем не выказали своего удивления.

Старший из них снял шлем и открыл свое лицо. Это был человек лет сорока на вид, страшно худой, видимо, изможденный долгой дорогой, голодом и жаждой.

— Благодарю тебя, благородный владетель, — отвечал он мне на том же языке. — Мы не привыкли к радушным встречам. Вот уже шесть месяцев, как мы скитаемся по горам и пустыням... Многие из нас погибли от невыносимых трудов и лишений, и только половина вышедших достигла до твоего замка!.. Верь, что не воевать мы пришли, и не меч, но ветвь мира принесли мы тебе!.. Принимаешь ли ты?..

— Охотно принимаю, рыцарь! — с живостью произнес я, — будь моим гостем. В лагерь твоих воинов будет тотчас доставлено все необходимое.

Я имел сильное желание спросить, куда именно направляются крестоносцы, но закон гостеприимства запрещал мне о чем-либо расспрашивать путников, ищущих убежища и приюта.

Рыцарь между тем, казалось, был сильно тронут моими словами. Он поклонился мне с достоинством и сказал:

— Я принимаю твое предложение и еще раз благодарю тебя. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь рыцаря Корнелиуса Валька, — ты смело можешь на то рассчитывать... Теперь я убедился, что нельзя полагаться на слухи...

— А что же говорят обо мне?.. — засмеялся я.

— Прости, повелитель, — но имя Старца горы наводит трепет на все народы...

Старец горы — это было прозвище, носимое властителем Аламута и перешедшее, следовательно, и ко мне.

— Старец горы не стар еще, — пошутил я, снимая шлем.

Рыцарь отшатнулся, взглянув на мое лицо, и не мог скрыть явного смущения, овладевшего им.

— Прости, — проговорил он, — и не сердись, если я попрошу тебя отпустить меня тотчас. К сожалению, я не могу воспользоваться твоим гостеприимством...

Я был удивлен несказанно: я видел усталость и изнурение рыцарей, видел, с какой радостью согласились они принять мое предложение, так резко отвергаемое теперь.

— Ты оскорбляешь меня, рыцарь! — вскричал я, едва сдерживая гнев. — Объясни мне причину твоего отказа!..

— Как твое имя? — спросил тот, устремляя на меня взгляд, в котором виднелись и страх и как бы сожаление ко мне.

— Хотя Старец горы, — отвечал я, — и не должен иметь имени, но я скажу тебе свое: я Измаил-бен-Алия!.. Доволен ли ты?..

— А ты знал кавалера Лакруа? — опять спросил рыцарь, всматриваясь в меня.

— Нет!

В моих словах было столько искренности, что рыцарь поколебался.

— Будь по-твоему, хотя все это очень и очень странно!..

Он задумался.

— Ты все продолжаешь отказываться? — спросил я.

— Я не могу отказаться!.. Прости, если я оскорбил тебя напрасным подозрением!..

— Объясни, рыцарь, в чем дело, прошу тебя!.. Я даже могу требовать этого!..

— Правда!.. Видишь ли, один из храбрейших наших рыцарей, благородный кавалер Лакруа, пропал без вести... Спустя некоторое время прошел слух, что он изменил своей вере, изменил св. кресту и сделался начальником людей, называемых нами ассасинами или, по-вашему, измаилитами. Утверждали, что он-то именно и есть тот, кого называют Старцем горы...

— Что же дальше? — спросил я, сильно заинтересованный.

— Я знал благородного кавалера Лакруа... Голос твой показался мне знакомым. Когда же ты открыл свое лицо, я

был поражен невыразимой печалью, увидев перед собою кавалера Лакруа!..

— Неужели я так похож на него?..

— Ты его двойник!.. Но теперь, когда я лучше всмотрелся в твоё лицо, я и сам начинаю думать, что ошибся. В твоём лице есть что-то особенное, оно способно внушать страх... Нет, не такое лицо было у кавалера Лакруа!..

— Но если б я действительно был тем самым Лакруа, неужели это заставило бы тебя отказаться от моего гостеприимства?..

— Конечно!..

— Но почему же?..

— Принять что-либо от изменника, от человека, отрекшегося от своей религии и от своего народа!.. Для рыцаря это невозможно!..

«Изменить религии» — эти слова были чужды сердцу человека, не имевшего никакой религии!..

— Я рад, что подозрения твои рассеялись, хотя я и поступил бы, быть может, иначе! — отвечал я. — Будь же моим гостем!..

Мои слуги помогли рыцарю снять доспехи и провели его в то помещение, которое занимал я, будучи гостем Мегди.

Сопровождавшие рыцаря Корнелиуса воины были поручены заботам федаев, и, наконец, согласно моему приказанию, в лагерь крестоносцев отправлены были тотчас обильные запасы провизии.

Вечером я пригласил рыцаря Корнелиуса и сопровождавших его к себе на пир. Подобно Мегди, я пользовался волшебными садами для того, чтоб переносить туда находившихся под влиянием гашиша неопитов — там они испытывали все наслаждения, обещанные Магометом правдивным, и потом, снова перенесённые в бесчувственном состоянии в свои жилища, они не могли решить, видели ли они все бывшее с ними наяву или во сне. Но память об испытанном была в них так сильна и жива, что они готовы были на все, лишь бы вновь пережить чудные мгновения. Я отдал соответствующие приказания, чтоб устроить для

своих гостей именно такой праздник, какой я устраивал для федаев.

Этим праздником я хотел доказать моим гостям, что никакая религия не предохранит человека от увлечения в жизни... Я хотел доказать, что человек облечен телом для того, чтобы брать от жизни все, что она дает...

Волнения, сопряженные с событиями последнего времени, особенно же отношение, выражаемое мне Агнесой — все это волновало меня и поглощало все мои мысли. Теперь, когда я был уверен, что именно я заместил старого Мегди, я смотрел на подчиненных мне, как на слепых исполнителей моей воли...

Не я ли видел, как по мановению руки старого Мегди двое цветущих юношей лишили себя жизни, пылая радостной надеждой на будущее и ни секунды не задумываясь над страшным, роковым шагом, который они совершали!..

День кончился. Я обошел сады и убедился, что все исполнено согласно моему приказанию.

Из предосторожности я обошел и крепостные стены. Я не замечал сумрачных лиц встречавших меня федаев и не видел тонкой улыбки старого Мегди, когда он выслушивал мои приказания.

Я был властелином, которому слепо повиновались...

Чего было мне опасаться?..

XVII

И вот настал достопамятный вечер, предшествовавший ночи, полной страшными событиями.

По-прежнему на дворцовой террасе красовались пурпурные лежа вокруг богато убранного стола, мерцало пламя светильников, и благовонный аромат фимиама смешивался с благоуханием цветов.

Я ожидал моих гостей, возлежа на том месте, которое занимал некогда Мегди.

К этому времени собрались мои даи и ближайшие из моих начальников. Тревога, возведенная в замке, уже успела распространиться далеко в окрестности, и стены крепости теперь вмещали в себе до шести тысяч федаев, не считая моих воинов. Отряды федаев расположились также в различных пунктах вне крепости и заняли все подступы к ней.

Если бы я был осторожнее, то заметил бы, без сомнения, что готовится что-то особенное: старик Мегди был особенно почитаем со мной, дай мои хмурились, а молодые федаи не могли скрыть своего волнения.

Я объяснял это настроением, вызванным событиями дня, и приписывал замеченное мною недовольство тому, что я, презрев все обычаи, принимал и чествовал в своем дворце непримиримых врагов исламизма.

Рыцарь Вальк явился на пир в сопровождении всех своих воинов. Их доспехи сменились шелковыми одеждами, на которых, впрочем, видны были следы трудностей похода.

Взойдя на террасу, рыцари сняли свои тяжелые мечи, так как не следовало на пирах, в присутствии властелина, иметь при себе оружие.

Я расспрашивал рыцаря Валька о его далекой родине и старался навести его на разговор о цели предпринятого ими похода. Но, видимо, он избегал прямого ответа. Зато сам он чрезвычайно интересовался областями, лежавшими на восток от Рудбара. Эти области хорошо были знакомы мне, прошедшему через них вдоль и поперек. Я давал рыцарю самые обстоятельные ответы и к удивлению своему замечал, как мои объяснения заставляли все более и более хмуриться его самого и его воинов.

Кубки наполнялись чаще и чаще; я видел, как все более и более оживлялись мои гости. Я сделал знак, по которому прислужники должны были наполнить чаши вином с подмесью гашиша. Я помнил свое состояние, вызванное этим наркотическим средством, и хотел заставить своих гостей испытать то же самое.

Лишь только одурманивающий напиток был разлит, как прислужники удалились, факелы осветили площадку,

предназначенную для танцев, стены садов раздвинулись, раздались звуки лютней, и толпы танцовщиц выпорхнули из темной глубины.

В то же время появились одетые в белые одежды невольницы и осыпали моих гостей цветами.

Я приподнялся со своего ложа, держа в руке кубок с опьяняющим, веселящим напитком.

— Друзья! — обратился я к рыцарям, — выпьем за радости жизни!.. Я хочу, чтоб наш праздник кипел весельем!.. Насладимся всем, что дает нам жизнь!..

Франкские воины переглянулись между собой.

Рыцарь Вальк встал и, не поднимая своей чаши, почти-точно поклонился мне.

— Благодарю тебя, повелитель, — сказал он, — за твое гостеприимство, на которое мы никак не могли рассчитывать. Мы участвовали в твоём пиру, хотя для нас не время пировать... Но теперь соблаговоли отпустить нас...

— Как! — вскричал я в удивлении, — вы хотите уйти теперь... Или не нравятся вам танцы моих рабынь?.. Или нехороша музыка лютней?.. Или некрасивы невольницы, служащие вам?..

— Все хорошо, властелин! — отвечал рыцарь Вальк. — Вкусно твое вино, прекрасны танцы твоих рабынь, и музыка лютней чарует слух... Но прости нас — мы не можем разделить до конца твой пир: данный нами обет связывает нас, и пока мы не исполним его, мы не можем нарушить воздержания... Отпусти нас!..

— Как хотите! — отвечал я с неудовольствием. — Удалитесь на отдых!.. Может быть, завтра мне удастся уговорить вас...

— Нет, повелитель! — воскликнул Вальк, — дозвожь нам теперь же покинуть твой замок! Наши товарищи ждут нас с нетерпением! Согласно твоему разрешению, мы ранним утром выступим в поход, чтоб пройти чрез подвластную тебе область...

Я медлил ответом: внезапное подозрение промелькнуло у меня в мыслях — чересчур неожидан был для меня

отъезд рыцарей, и данное им позволение пройти чрез горы начинало меня тревожить.

Рыцарь Вальк заметил мою нерешительность.

— Не сомневайся в наших намерениях, — заметил он, — мы хотим только проследовать далее на восток. До сих пор мы ни на кого не нападали первые... Уверяю тебя, что не для завоеваний мы выступили в поход!.. Наши мечи обнажатся только в том случае, если кто-нибудь встанет на нашем пути!..

— Как! — воскликнул я, — вы думаете, что вам удалось бы силой пройти чрез наши владения?.. Но знайте, что пятнадцать тысяч неустрашимых воинов по одному моему знаку уничтожили бы горсть неверных!.. На что могли бы вы надеяться?.. Неужели на победу?..

— Как знать, — уклончиво заметил рыцарь, — победу дает Бог!.. Некогда слабый Давид победил Голиафа!..

— Ну, это время не возвратится! — усмехнулся я. — Впрочем, я не буду вас задерживать!.. До свидания, благородные рыцари!..

Воины поднялись со своих мест и поклонились мне.

— Еще раз прими нашу благодарность, — сказал Вальк, — и знай, что рыцарь Вальк всегда готов служить тебе своим мечом и всем, чем может...

— Ну, я думаю, что меч твой не понадобится мне! — отвечал я.

— Как знать?.. — возразил рыцарь. — Во всяком случае — услуга за услугу. Прощай, и да будет с тобой всякое благополучие, и успех всюду да сопутствует тебе!..

Рыцарь Вальк и его воины приблизились к месту, около моего ложа, где сложены были их мечи.

— Отпустите и проводите рыцарей! — приказал я.

Но тут произошло совсем неожиданное мною.

— Бейте их! Бейте изменников! — раздался голос Мегди.

Факелы, освещавшие площадку, погасли. Танцовщицы и рабыни скрылись, и толпа вооруженных федаев ворвалась на террасу.

— Измена! — вскричал рыцарь Вальк, — защищайтесь!

Франкские воины выхватили кинжалы, — и тут я увидел, как умели они сражаться! Тесно прислонившись друг к другу, они отбивали сыпавшиеся на них удары, стараясь завладеть мечами. В мгновение ока несколько пораженных насмерть федаев пали около них.

— Стойте! — воскликнул, наконец, я, придя в себя от охватившего меня изумления.

— Убейте эту собаку! — вскричал, указывая на меня, Мегди.

При этом возгласе я понял все: я, наместник пророка, готов был пасть жертвой гнусного заговора!..

Страшная злоба охватила меня...

— Берегитесь, изменники! — вскричал я, отбрасывая приблизившихся ко мне федаев и одним прыжком достигая места, где сложены были мечи рыцарей.

Я схватил один из них. Мой верный Бедр-ал-Джемал один очутился около меня.

— Держитесь, рыцари! — вскричал я.

Меч мой сверкнул, и голова дая Ахмета, замахнувшегося на меня, скатилась на каменные плиты террасы.

Федаи отхлынули от меня.

— Бери, рыцарь! — крикнул я, схватывая другой меч и бросая его Вальку.

— Благодарю! — крикнул тот, ловко схватив на лету оружие.

О, что произошло, когда меч очутился в руке неустрашимого рыцаря... Как подкошенные, падали мусульманские воины, и широкий круг образовался вокруг франков.

Я и Бедр-ал-Джемал защищали место, где сложены были мечи, отражая старавшихся завладеть ими федаев.

Уже многие пали от моей руки, когда, наконец, рыцарям удалось пробиться к нам и завладеть своим страшным оружием. Их мечи, длинные и тяжелые настолько, что они были бы не под силу среднему человеку, как тростник ломали булатные кривые сабли федаев. Чем дольше продолжалась борьба, тем я приходил в большую и большую ярость. Я неудержимо рвался вперед, меч мой все сокрушал на пути, и ни ободрительные возгласы Мегди, ни его прокля-

тия не могли удержать федаев, отступавших с террасы на площадку.

— Следуйте за мной! — крикнул я рыцарям, успевшим подобрать круглые щиты убитых федаев.

От стены, окружавшей сады, шел подземный ход, выходивший на дно пропасти. Только этим ходом можно было достигнуть ее неприступного дна со стороны замка. Оттуда узкая тропинка вела на вершины и, извиваясь по карнизу, приводила к выходу из гор, откуда можно было достигнуть лагеря крестоносцев.

— Бедр-ал-Джема! — воскликнул я. — Мы спасемся через подземный ход.

— Если только он не занят, господин! — отвечал верный слуга.

— Мы пробьемся! Вперед! Вперед, рыцари, не отставать от меня! Отставший неминуемо погибнет!

Рыцари подняли свои мечи и закрылись щитами. Грозной стеной ринулись мы вниз с террасы, пролагая страшный путь сквозь толпы федаев. На площадке вновь зажглись факелы. Со двора и стен крепости доносились крики и шум сражения. Тяжелый звон сторожевого диска рокотал и покрывал все своим громом. Я понял, что внутри крепости идет кровавая битва между моими людьми и федаями.

Меня охраняла точно какая-то невидимая рука. Я рвался вперед, один врезывался в середину врагов и разил с исполинской силой.

Еще одно усилие — и мы плотным кольцом окружили цистерну, через которую шел подземный ход.

Вода из глубины поднималась до краев цистерны и маскировала вход. Надо было вытянуть тяжелую цепь, прикрепленную к камню, закрывавшему отверстие, поднять его и, когда вода схлынет, спуститься по узкой лестнице и вступить в проход, по которому лишь один человек мог пройти, и то с большим трудом.

Я схватил цепь и с непонятной для меня самого силой извлек тяжелую плиту.

Вода с глухим шумом хлынула сквозь открывшееся отверстие, и через минуту показались первые ступени лестницы.

— Спускайтесь по одному! — крикнул я рыцарям, — я сойду последний!..

Но в эту минуту я вдруг вспомнил об Агнессе.

Оставить ее здесь?

Ни за что!

Одна мысль об этом заставила меня похолодеть от ужаса.

— Вас проводит Бедр-ал-Джемал! — крикнул я. — Я буду защищать вход, пока спустится последний!

Но в эту минуту кривая сабля одного из федаев поразила моего верного Бедр-ал-Джемала.

Некоторые из рыцарей были уже ранены. Гора трупов окружала их, но новые и новые ряды федаев шли на смену павших товарищей.

Времени терять было нельзя.

— Рыцарь Вальк! — крикнул я, стараясь заглушить шум сечи. — Иди первым. В середине прохода, в потолке, ты можешь нащупать выступ, образованный нависшими камнями. Когда все твои пройдут, пусть последний из них своим мечом выбьет один из этих камней — тотчас сверху обрушится громадная скала и отделит вас от преследующих. Из пропасти, куда вы выйдете, с противоположной стороны идет тропинка, которая выведет вас к лагерю.

— Но ты, благородный человек? — отвечал Вальк, продолжая наносить страшные удары. — Как останешься ты?..

— Обо мне не беспокойся! Мне необходимо остаться! Но подождите меня сутки, если возможно! Я постараюсь присоединиться к вам! Пусть совершится, что суждено!..

В это время вода уже сошла вся, и в цистерне открывалось узкое, зияющее отверстие, лишь сверху озаренное отблеском факелов.

— Иди, рыцарь! — крикнул я.

— Нет! — отвечал он.

По его знаку один из воинов прыгнул в цистерну и смело спустился в зияющую тьму.

За ним последовали другой и третий.

Мы сжались плотнее под натиском федаев и, ступив за края цистерны, стали около спуска в подземелье.

Ушел один, еще один...

Наконец, мы стали вдвоем с рыцарем Вальком, прислонившись спинами один к другому и каждым взмахом наших мечей заставляя отбрасываться назад разъяренных федаев.

— Иди, рыцарь! Выбирай удобное мгновение и ступай!
— крикнул я.

— Пусть сохранит тебя Бог! — отвечал рыцарь. — Я должен идти!..

Он поднял щит над головой, взмахнул мечом и скрылся в проходе.

— Не упускайте! Не упускайте изменника! — донесся до меня голос Мегди.

Этот голос удвоил мою ярость и мои силы. Я один защищал теперь вход подземелья, стоя на первой ступени. Мой меч описывал, не переставая, широкие круги над моей головой, и всякий раз новые трупы прибавлялись к грудам, переполнившим цистерну.

— Не бойся, Мегди! — крикнул я. — Еще немного — и голова твоя скатится от удара моего меча!

С ревом и воем кидались на меня федаи, но трупы их товарищей служили мне защитой. Моя неуязвимость стала, видимо, пугать их, и приступы их делались все медленнее и нерешительнее.

Я решил воспользоваться этим, тем более, что по моим расчетам рыцари уже успели преградить путь и отрезать готовую кинуться за ними погоню.

— Назад, изменники! — раздался мой громовой возглас. — Смерть ожидает всякого, поднявшего руку на Измаила!..

Подобно тигру, прыгнул я через трупы убитых и врезался в толпу федаев. Ничто не могло противостоять моему натиску, и широкий проход открылся под ударами моего меча.

Многие из федаев остановились в нерешимости — неужели, в самом деле, этот человек, которого хотели они убить, был истинный сын Алиа и их законный властелин!..

— Мы после сочтемся с тобой, Мегди! — крикнул я, устремляясь вдоль садовой стены к широкому portalу, через который открывался вход в гарем.

В это время утих шум битвы внутри крепости. Я понял, что погибли или сдались немногие, оставшиеся мне верными люди.

Я опередил федаев и был около входа. Два вооруженных евнуха хотели воспрепятствовать мне, но в мгновение ока пали под ударом моего обагренного кровно меча.

Я вышиб плечом палисандровую дверь и ворвался в здание. Сильной рукой поверг я на землю попавшегося мне главного смотрителя садов и занес меч над его головой.

— Где Агнесса? — вскричал я.

— Пощади, повелитель! — едва мог проговорить пораженный ужасом евнух.

— Где она?

— Все жены твои и невольницы целы...

— Где Агнесса?..

Острие моего меча уперлось в грудь распростертого слуги.

— Пощади, повелитель!.. Но она скрылась, скрылась неизвестно куда...

Струя крови обагрила ковры...

Я перешагнул через труп и бросился во внутренние помещения.

Охваченный безумием, стгоя от злости, я перебежал из одной комнаты в другую, срывая покрывала со всех встречавшихся мне женщин и тщетно ища между ними моей Агнессы!..

Увы! ее нигде не было!..

Доносились крики федаев, столпившихся у входа и не решавшихся проникнуть в гарем своего повелителя, кто бы ни был этот повелитель — Измаил или Мегди...

Куда могла она бежать?..

Внезапная догадка осенила меня: конечно, она бежала в стан крестоносцев!.. При ней возведено было мне о приближении франкских воинов, и ей представлялся случай исполнить свое давнишнее желание!..

Известно ли ей было что-нибудь о заговоре?.. Воспользовалась ли она смятением битвы, чтоб, бросив меня, привести в исполнение свой замысел!..

Я не знал этого... Но я чувствовал, что мне нанесено страшное оскорбление, и жажда мести охватывала меня...

Подобно буре, появился я перед толпой федаев, собравшихся у входа.

Я устремился было на них, но их ряды раздвинулись и открыли мне свободный проход.

— Пропустите его! — долетел до меня голос Мегди. — Пусть его отправляется искать беглянку, рабом которой стал, презренный!..

Я добежал до ворот, никем не останавливаемый.

Ворота были открыты, но сильный отряд охранял их, и смоляные факелы ярко горели на стенах.

Должно быть, ужасен был мой вид, потому что при моем приближении стража в ужасе отступила.

Я поверг на землю служителя, державшего одного из оседланных коней, вскочил в седло и, рискуя каждую минуту слететь в пропасть, помчался по узкой горной тропинке.

Свет крепостных факелов и костров мало-помалу терялся вдали, и мутные тени гор окутывали меня со всех сторон. Но я все понуждал коня и мчался вперед, не видя дороги и не думая об опасности.

Мое возбуждение как бы передалось коню, и благородное животное напрягало все свои силы.

Вот впереди показался огонь...

Неужели тут расположен бивак крестоносцев?..

Но нет, они расположились в предгории, у входа в наши неприступные твердыни.

Еще минута бешеной скачки — и передо мной вырисовались фигуры сторожевых федаев, окружавших лагерь.

Они слышали топот и стояли с копьями в руках, ожидая моего приближения.

И вот в полумраке показалась перед ними фигура всадника, похожего скорее на дух, вырвавшийся из ада, чем на живого человека...

Костер был разложен на самой середине узкой дороги, ограниченной с одной стороны бездонной пропастью, а с другой — высокой, отвесной скалой.

Проход передо мной был прегражден, но я не мог раздумывать: я сжал ногами бока коня, мой меч скользнул по его боку... Я натянул поводья — и мой конь гигантским прыжком перенесся и через пылавший костер, и через выстроившихся в ряд стражей...



В полумраке показалась перед ними фигура всадника...

Копье скользнуло по моей руке, позади меня раздался крик изумленных, перепуганных воинов, — но я снова мчал-

ся уже вперед, скрываясь в непроглядном мраке, развертывавшемся передо мной.

Если б теперь я, когда из самого разгара кровопролитной сечи меня невредимым вывела чья-то охраняющая рука, — если б теперь я возвратился в крепость и, с поднятым, окровавленным, победоносным мечом в руке, приказал бы следовать за собой — то, вероятно, пораженные феодалы последовали бы за тем, кого в их глазах хитрый Мегди сумел выставить изменником и похитителем имени Измаила...

Но я не думал об этом: одна мысль и одно желание владели мною и удесятеряли мои силы: я жаждал настигнуть Агнессу, захватить ее, но не для того, чтоб пасть пред ней на колени или прижать ее к своей груди...

Нет!.. Если б я настиг ее в эту минуту, то меч мой поразил бы ее так же, как поражал он без пощады и сострадания толпы возмущившихся передо мной феодалы...

Кто был виновнее?..

Они ли или она?..

Они повиновались мне слепо, пока верили мне. Они восстали против меня, когда их убедили в том, что дерзкий похититель явился им под именем Измаила...

В чем же состояла их вина?..

В легковерии?..

Но не тем же ли легковерием объяснялась и их слепая преданность своим властителям?..

Но Агнесса!..

О, при одном воспоминании о ней жаждой мести закипала моя душа...

Ничей другой образ никогда не жил в моей душе и не заставлял сладостно замирать моего сердца! Я слышал от нее слова любви, я считал ее возвращенной мне, я верил, что потерянное вновь пришло, — и вдруг вместо истины я вижу ложь!

Уже светлело темное небо, и блекли уже яркие звезды, когда в полупрозрачном свете вырисовались передо мной тени лагеря крестоносцев и остроконечные верхушки их палаток.

Конь мой уже спотыкался от усталости, но я, зажав в руке обнаженный меч, все сильнее и сильнее сжимал ногами его бока и понуждал его к дальнейшему бегу.

Мне виднелся уже впереди приют дорогой и, в одно и то же время, ненавистной мне беглянки. Меньше стадии отделяло теперь меня от нее, и я, не думая ни о чем, не забываясь о том, как примут меня в стане чуждых и враждебных мне людей, мчался вперед, как вдруг несколько черных теней перерезали мне дорогу, и чьи-то сильные руки схватили под уздцы моего коня.

Я покачнулся и едва не выпал из седла, внезапно остановленный на полном карьере. Но тотчас меч мой поднялся и готов был разить, как до слуха моего донесся восторженный крик:

— Кавалер Лакруа!.. Это он!..

Мой конь почувствовал свободу и спокойно стоял, поджимая бока и с жадностью глотая воздух.

— Откуда вы, благородный рыцарь?.. — снова раздался голос невидимого мне человека.

Тут я вспомнил, как рыцарь Вальк при первом взгляде узнал во мне неизвестного мне кавалера Лакруа, и понял, что меня принимали за то же самое лицо.

— Я из замка Аламут, — отвечал я на том же языке франков. — Возвратился ли рыцарь Вальк и его спутники?..

— Их нет еще, кавалер; но что случилось? — продолжал говорить тот же голос.

— В замке восстание против султана. Нам пришлось выдержать страшную битву... Рыцарь Вальк и все остальные идут через подземный ход...

— О, надо сейчас же дать знать рыцарю Тельрамунду!..

— Хорошо, но пропусти меня!..

— Поезжай, кавалер!..

Я тронул было лошадь, но потом опять обратился к часовому:

— Скажи мне, — вскричал я, — в течение ночи никто не приходил в лагерь?

— Никто!

— Не явилась ли женщина?..

— Нет, рыцарь!..

Я пустил моего изнемогающего коня, и через несколько минут в лагере крестоносцев раздался громкий, тревожный звук военной трубы, так как при первых моих словах о восстании в замке рыцарь Тельрамунд, остававшийся начальником, решил идти на помощь Вальку.

Наступало уже утро. Я с любопытством рассматривал палатки франкских рыцарей, правильными рядами тянувшиеся коновязи и, забывая положение, невольно восхищался образцовым порядком, с которым, через несколько минут после тревоги, выстроились пятьсот человек, закованных в тяжелые брони воинов.

Рыцарь Тельрамунд, в палатку которого меня тотчас провели по приезде в лагерь, встретил меня, подобно и всем остальным, как кавалера Лакруа.

Не время было разубеждать в ошибке, и я молча принимал раздававшиеся со всех сторон приветствия.

— Рыцарь, ты, конечно, отправишься с нами? — обратился ко мне Тельрамунд.

Тельрамунд был еще молодой человек. При первом взгляде на его лицо я почувствовал к нему необъяснимую симпатию — не знаю, привлек ли меня лучистый, ясный взор рыцаря, печаль ли, проводившая грустную черту в его ласковой улыбке, или что-то знакомое показалось мне и родное во всей его благородной фигуре.

— Мне кажется, рыцарь, — отвечал я, — что именно мне одному и возможно оказать помощь нашим товарищам: без меня никто не в состоянии будет найти входа в ущелье и тропинки, по которой можно добраться до лагеря. Но у меня нет никакого оружия, кроме меча...

— О, не беспокойся об этом!.. К сожалению, многие из наших пали, чтоб никогда не вставать больше... Их вооружение осталось — ты найдешь свободно все нужное тебе...

В палатку Тельрамунда принесли доспехи. Молодые оруженосцы помогли мне надеть тяжелые латы.

Я был готов через несколько минут. Защищенный броней конь ожидал меня.

Оставив сто всадников для защиты лагеря, мы двинулись в путь.

Дорога с самого начала шла в гору, извиваясь узкой тропинкой. Нам приходилось пробираться с трудом, двигаясь друг за другом.

С трудом ступали кони, отягченные тяжестью закованного в доспехи всадника и прикрывавшей их самих брони.

Через два часа пути, уже при ярком свете утра, мы выехали на широкую площадку, со всех сторон окруженную горами и обрывистыми пропастями. Отсюда дорога круто поднималась вверх. Стоя внизу, казалось невозможным подняться на эту страшную крутизну.

— Нам невозможно ехать дальше! — воскликнул Тельрамунд.

— Почему? — отозвался я.

— Ни одна лошадь не пройдет по этой дороге!.. — Тельрамунд указал на уходившую в высь дорогу.

— Здесь я проскакал ночью! — заметил я. — Но дело не в том — нам и не надо подниматься: путь наш лежит не здесь.

Тельрамунд и другие рыцари оглядывали с недоумением площадку, тщетно стараясь найти признаки какой-либо другой дороги.

— Здесь! — сказал я, подъезжая к самому краю отвесной пропасти.

Почти отвесный скат представлялся отсюда глазам. Внизу, футах в восьмидесяти, высился могучий кедр.

— Видите ли этот кедр? — сказал я. — От него идет тропинка, по которой может пробраться человек.

— Но как спуститься до этого кедра? — раздалось несколько голосов.

— Никто и не пройдет, кроме меня! Я знаю дорогу, и встречу наших товарищей и помогу им выбраться, если только им удалось благополучно миновать подземный ход!.. Не спорьте, — прибавил я в ответ на посыпавшиеся со всех сторон возражения, — никто из вас не окажет мне ни малейшей помощи и только затруднит путь. Вам всем необходимо оставаться на этой площадке: через нее ведет един-

ственный путь из замка в лагерь. В случае нападения, вы встретите неприятеля на месте, удобном для защиты.

— Кавалер прав, — пусть он поступит, как ему угодно! — решил Тельрамунд.

Я слез с коня. Мой оруженосец, данный мне Тельрамундом, подошел ко мне, чтобы снять с меня доспехи, но я отстранил его и направился к обрыву.

— Рыцарь!.. — сразу раздалось несколько голосов, Я невольно остановился.

Тельрамунд поднял руку, готовясь спрыгнуть с седла.

— Что хочешь ты делать? — воскликнул он, и я видел, благодаря поднятому забралу, страх, отразившийся на его лице.

— Хочу спуститься вниз! — отвечал я.

— В доспехах?..

— Конечно! Ведь легко может случиться, что внизу меня ожидают враги!..

Я увидел, как рыцари переглянулись между собой.

— Кавалер Лакруа! — вскричал Гастон, старший после Тельрамунда, — мы знаем твою храбрость!.. Но вспомни: ни один, самый сильный рыцарь, ни даже рыцарь тонкой брони* не в состоянии пройти и тысячи шагов в полном вооружении! А ты хочешь в этом вооружении спускаться по дороге, по которой не пройдет даже привычный, легко вооруженный горец!..

Тут только я вспомнил про обременявшие меня доспехи. Тяжесть их была такова, что рыцарь, выбитый из седла, не в состоянии бывал часто без посторонней помощи подняться с земли.

Но странно — я не чувствовал этой тяжести. При словах рыцаря Тельрамунда я попробовал сделать прыжок — и крик удивления вырвался у толпы рыцарей: я легко отде-

* Рыцарь тонкой брони *один* в течение шестнадцати часов защищал лагерь крестоносцев под Птолемаидой против натиска всей конницы Саладина (исторический указатель).

лился от земли, как если б ничто не стесняло свободы моих движений.

— Все равно!— крикнул я.—Я иду!..

С этими словами я схватился одетыми в железные перчатки руками за край обрыва и повис над бездной... Тщетно мои ноги искали точки опоры: при каждом усилии носок моего защищенного сталью сапога ударялся о гладкую поверхность отвесной каменной скалы ..

Я оглянулся вниз: там зияла черная бездна... Но фута на полтора ниже моих ног шла узкая трещина, темной дорожкой извивавшаяся до гигантского кедра. Держась одной рукой за край обрыва, я, насколько позволяли доспехи, изогнулся и другую руку положил в эту расщелину. Еще мгновение — я отпустил руку и ринулся вниз... Сверху до меня донесся крик испуганных товарищей, но я уже впился обеими руками в края расщелины, и через секунду мои ноги, сбрасывая вниз камни, уперлись в ее изрезанные края...

Осторожно, пятясь задом, начал я опасный спуск... То обрываясь, то скользя по камням, я, наконец, обхватил руками толстый ствол гигантского дерева и остановился, чтоб перевести дух.

Я стоял на выступе скалы, где приютился могучий кедр. Отсюда, сбегая вниз, вилась узкая, но уже более отлогая тропинка, вырубленная руками человека в непроходимой круче.

Только по этой тропинке возможен был выход из пропасти, куда вел подземный проход из замка.

Агнесса не могла убежать на восток: там, при первой встрече, она рисковала снова сделаться рабыней, но уже менее снисходительного повелителя. На запад ей оставалась только одна дорога — по которой проехал я и которую стерегли рыцари. По этой дороге она не проходила.

Оставался еще один путь — через подземный ход. Она знала его, благодаря мне, и могла им воспользоваться до начала битвы.

Следовательно, я каждую минуту мог ожидать, что столкнусь с нею... Тогда уже никакие силы не отнимут ее

от меня!..

В эти короткие минуты размышления во мне проснулся вполне взгляд на женщину, свойственный Востоку: она отвергла мою любовь, говоря, что любит меня... Она осмелилась бежать от меня...

Она лгала!.. Она насмеялась надо мной!.. Этого было совершенно достаточно, чтоб ненависть и жажда мщения, удесятеряемые вновь вспыхнувшей с неудержимой силой любовью, охватили всего меня...

Да, я схвачу ее, как пленную рабыню, привяжу ее к стремени, повлеку позорно в свою палатку и поступлю, как с рабыней!..

Я взглянул наверх: многие рыцари — в том числе Тельрамунд и Гастон — сошли с коней и, перегнувшись через край пропасти, смотрели вниз.

Я махнул им рукой, и в ответ мне раздался единодушный крик:

— Да здравствует храбрый Лакруа!..

Лакруа — так Лакруа! — решил я, начиная спускаться вниз по опасной тропинке.

Через несколько минут от меня уже скрылись фигуры рыцарей, тревожно следивших за мной. Солнечные лучи только слабым отблеском освещали пропасть, зиявшую подо мной, и только клочок голубого неба виднелся над моей головой.

Тропинки под моими ногами не было уже видно. Я обнажил мой длинный меч и его острием ощупывал дорогу, опираясь на него при каждом трудном шаге.

Но вот внизу светлым пятном вырисовалось дно пропасти, и донеслось журчанье ниспадавшего в нее ручья. Солнце уже возшло высоко, и его лучи, минуя стены обвала, освещали часть его дна.

Я испустил громкий призывный крик.

Эхо далеко разнесло его по горам.

И вот из глубины, к несказанной моей радости, до меня донесся ответный гул нескольких голосов.

Тропинка снизу тоже была частью освещена, и я, опираясь на свой меч, в несколько прыжков очутился внизу.

— Вы спаслись! — воскликнул я, обнимая рыцаря Валька и стараясь в числе его спутников рассмотреть Агнессу.

— Ты! Кавалер Лакруа! — вскричал Вальк, отступая от меня.

— Тот же Измаил, который принимал вас в Аламуте и вместе с вами спасся, стоит перед тобой, рыцарь Вальк!.. — сказал я почти шепотом.

— Если так, то пусть, во всяком случае, останется при тебе имя Лакруа! — серьезным тоном, тоже понизив голос, отвечал Вальк. — Кавалер Лакруа был храбрый рыцарь; но ты достоин принять его имя!..

Я обернулся к воинам. Теперь я успел сосчитать их и увидел, что их было всего восемь.

— Мне кажется, вас было десять?.. — спросил я.

— Правда! Но двое не вынесли ран, полученных ими, и не могли следовать за нами!.. Они там!..

— Где?..

— В этом ужасном проходе!..

— Я спасу их! — воскликнул я, устремляясь вперед.

— Остановись, благородный рыцарь! — остановил меня Вальк, — их нечего спасать — они уже мертвы.

— Никого еще не встретили вы в проходе, и никто не падался вам навстречу? — с тревогой спросил я Корнелиуса.

— Никого!..

Куда могла скрыться Агнесса?..

Неужели обманули меня евнухи и невольницы гарема?..

Но нет! Смерть главного их надзирателя должна была поразить их ужасом, и они не могли солгать мне. Тогда где же она?..

Но не все ли равно!

Я был в эту минуту уверен, что найду ее...

— Нам предстоит опасный путь! — обратился я к моим товарищам. — Вверху, на площадке, нас ожидают воины под предводительством рыцарей Тельрамунда и Гастона!..

— Неужели ты побывал уже в лагере?.. — с удивлением воскликнул Вальк.

Я в коротких словах объяснил ему, как удалось мне выйти из замка и достигнуть лагеря.

— Теперь вперед, друзья! — сказал я, указывая на тропинку.

Я пошел вперед, опираясь на меч и указывая дорогу.

Чем выше поднимались мы, тем круче становился подъем и тем с большим удивлением смотрели на меня воины: я бодро шел, неся на себе тяжесть доспехов, между тем как они, с одним мечом и щитом, не могли поспеть за мной и ежеминутно останавливались, чтобы перевести дух.

— Поистине, рыцарь, я не видал никогда ничего подобного! — вскричал наконец Вальк. — Теперь я понимаю, что ты мог победить тысячи!..

Солнце уже перешло зенит, и его косые лучи, оставляя во мраке дно пропасти, золотили ее края, когда мы достигли гигантского кедра. Отсюда кверху поднималась отвесная скала, с которой можно было только спуститься, но на которую невозможно было подняться.

Мы столпились на площадке и устремили взоры наверх. Но, к удивлению нашему, никто из ожидавших нас не показывался наверху. Но зато до нас донесся звон оружия и крики сражающихся.

Я взглянул на горные склоны.

Оттуда, со всех сторон, спускались вниз белые фигуры федаев, перепрыгивавшие с камня на камень. Черные склоны горы пестрели белыми точками.

Слева, где одинокий гребень возвышался над площадкой, видны были ряды стрелков, осыпавших стрелами стесненный местностью отряд крестоносцев.

— Они погибли, — вскричал я, — если останутся еще на этой площадке! Федаи обрушат на них с высот целые скалы! Необходимо отступать, предварительно отбросив врага и завалив узкую тропинку...

— Кавалер! — отвечал Вальк, — если бы ты был с ними, ты указал бы им путь! Но никакая человеческая сила не поможет взобраться на эту крутизну!..

Он указал на обрыв.

— Как знать! — отвечал я. — Мы должны попытаться! Во всяком случае, наше появление будет неожиданностью для врага: оттуда, с горы, нас не видно под крутым обрывом... Попытаемся.

Я воткнул меч в расщелину и поднялся на три фута вверх. Здесь я укрепился и помог, одному за другим, всем остальным достигнуть до меня.

Дальше подъем становился все труднее и труднее, но я, не чувствуя усталости, протягивал руку и одним взмахом поднимал к себе воина за воином.

Но вот надо мной висится навес, с которого удалось соскользнуть мне в расщелину. Только какие-нибудь восемь-девять футов отделяли меня от площадки, но пройти их казалось невозможными

— Кто из вас самый сильный? — спросил я своих товарищей.

Ко мне приблизился рыцарь Вальк.

— Хотя я не могу сравняться с тобой силой, — сказал он, — но я могу поднять лошадь и всадника в полном вооружении!..

— Становись, рыцарь!

Одним прыжком я очутился у него на плечах.

Рыцарь Вальк даже не дрогнул под этой страшной тяжестью и под жестоким толчком.

Теперь руки мои могли достигнуть выступа площадки, я ухватился за него и сделал отчаянное усилие, — тело мое приподнялось, и я грузно ударился о ровную поверхность скалы.

Вокруг меня шла ожесточенная сеча: со всех сторон стремились вниз ряды федаев и падали пред железной стеной рыцарей. На мою броню наступали лошади, звон оружия покрывал мой голос, но я не обращал ни на что внимания: лежа на земле, я свесился через край обрыва и протянул вниз руку. Но она не могла достигнуть руки рыцаря Валька.

Тогда один из его воинов последовал моему примеру и вскочил на его плечи. Я схватил его за руку — и через секунду он уже бросился в середину сражающихся.

Его примеру последовали все остальные. Наконец, один рыцарь Вальк оставался внизу. Он не мог воспользоваться ничьей помощью. Моя рука не достигала до него....

Тогда я схватился одетою железной перчаткою рукою за острие своего меча и рукоятку его протянул вниз... Рыцарь Вальк взялся за крестообразную рукоятку — я напряг все усилия и, наконец, руки его коснулись моих.

— Вперед! — крикнул я, когда оба мы очутились на площадке.

Как ураган, ринулись мы на толпы федаев. Я не опускал моего забрала, и вид моего лица один наводил ужас на врагов.

— Измаил!.. Измаил-бен-Алия против нас!.. — раздались полные ужаса крики.

Мой меч разил направо и налево. Всадники-крестоносцы не могли следовать за мной, так как вооружение не позволяло им слезть с коней, и только восемь воинов моих союзников, — во главе с рыцарем Вальком, — следовали за мной пешими.

Мы оттеснили федаев на склон противоположной горы.

— По одному поезжайте вниз! — крикнул я, обернувшись назад. Мой голос донесся до слуха воинов. Раздались громкие звуки фанфары, и всадники один за другим повертывали коней и начинали съезжать вниз по тропинке, направляясь к лагерю.

Мы — я и рыцарь Вальк со своими воинами — заняли всю ширину площадки. Федаи, пораженные, видя меня, отхлынули назад, и мы без боя вступили в узкий проход, по которому вилась единственная тропинка. Весь отряд длинной лентой извивался позади нас.

Над самой тропинкой, справа и слева, нависли громадные скалы. Я знал, что, взобравшись наверх, несколькими человекам легко отделать эти нависшие громады от самой горы и низринуть их вниз. Тогда путь будет прегражден преследователям, и наше отступление обеспечено.

Но тут я заметил, что передние ряды федаев ободрились и подступают к проходу, между тем как плотные толпы их заняли оставленную нами площадку.

— Займите проход, рыцари! — обратился я к своим спутникам. — Пусть падете все вы, но чтоб ни один из врагов не прорвался через вас!..

Я знал, что дальнейшая тропинка не позволила бы ни одному из всадников обернуть коня. Каждый из них был бы убит с тылу, если бы враги прорвали нашу фалангу.

Рыцарь Вальк и его воины заняли дорогу и, выставив вперед щиты, ожидали неприятелей.

Я вскарабкался на выступ, нависший над дорогой, и старался своей тяжестью обрушить его вниз.

Но скала не поддавалась моим усилиям. Между тем, я видел, как толпы федаев все ближе и ближе подвигались, готовясь сломить преграду, стоявшую на их пути.

Я выхватил из ножен меч и стал бить им по узкой полосе, соединявшей отросток скалы, державшийся в воздухе, с ее основанием.

Сталь звенела и дрожала в моих руках. При каждом ударе рука моя дрожала и немела, но я видел, что работа подвигается вперед, и не бросал ее.

Вот передние ряды федаев плотнее подступили к крестовицам.

— Отступите, рыцари! — крикнул я, выпрямляясь и ударом ноги стараясь отделить глыбу.

Мои товарищи послушали меня. Федаи остановились прямо под нависшей громадой, пораженные моим неожиданным появлением сверху, над ними.

Скала уступила, наконец, моим усилиям и рухнула вниз.

Дикий крик, полный ужаса, раздался среди федаев; кто успел спастись, ринулись вниз в паническом страхе, но громадный обломок, с шумом и грохотом, катился за ними по наклону, настигая бегущих. Наконец, сжатый в ущелье его стенами, он остановился и заградил проход.

Когда скала ринулась вниз и ударилась об землю, я почувствовал сильное сотрясение — его не выдержала глыба, нависавшая с противоположной стороны, и ринулась вниз вслед за первой.

Путь преследователям был закрыт... В несколько прыжков я спустился вниз, и вскоре мы достигли хвоста длинной лентой двигавшегося отряда.

Рыцарь Вальк и его воины, лишь только я очутился среди них, склонились передо мной в низком поклоне.

— Только бессмертный Роланд мог совершить то, что сделал ты! — воскликнул Вальк.

Но я не знал, кто был рыцарь Роланд и что именно он совершил...

Кончился долгий путь — и вот перед нами вновь заблестели верхушки еще неубранных палаток лагеря.

Мои спутники отделились от меня, и когда я, уже севший на своего коня, подъезжал к лагерю, латники и рыцари стояли в строю.

Рыцарь Вальк поднял свой меч — и по этому знаку в приветственном салюте поднялись мечи всех крестоносцев, и раздались единодушные, громкие крики:

— Да здравствует кавалер Лакруа!.. Да здравствует отважный служитель, храбрый защитник Креста Господня...

Измученный и растроганный этой неожиданной почестью, я как мог отвечал на приветствие и слез с коня. Тут только почувствовал я усталость, и, отдав щит и меч оруженосцу, направился к поставленной для меня палатке...

Оруженосец помог мне снять доспехи, и я, лишь выпив с жадностью кружку воды с вином, бросился на землю и, завернувшись в плащ, заснул мертвым сном...



XVIII

Меня разбудили звуки труб. Я поднялся со своего первобытного ложа и поднял край палатки.

Здесь я увидел своего оруженосца.

— Сколько времени я спал? — спросил я.

— Солнце зашло и вновь взошло, как продолжался твой сон, благородный рыцарь! — отвечал юноша, устремив на меня свой взор.

В этом взоре прочел я восторженное удивление, отражавшееся и в прекрасных, полных свежести чертах оруженосца.

— Как зовут тебя, юноша? — спросил я.

— Франциск д'Э, кавалер! — отвечал тот, вспыхнув румянцем.

— Но ты еще очень молод.

— Я молод, рыцарь, но верь, что не молодость, а твое приказание воспрепятствовало мне вчера следовать за тобой...

— Я верю... Но не случилось ли чего нового?..

— Ничего, рыцарь!..

— Тогда что же возвещал звук трубы?

Юноша взглянул на меня с некоторым удивлением.

— Настало утро, рыцарь! — отвечал он. — Звук трубы собирает всех к молитве... Угодно и тебе идти?..

— Конечно!

Я возвратился в палатку. При помощи моего оруженосца я надел приготовленную для меня одежду, умылся, привесил к поясу кинжал, покрыл голову бархатным, украшенным перьями беретом и хотел было уже выйти из палатки.

— Позволь, рыцарь! — вскричал Франциск.

Он стал на колени и, склонившись, прицепил к моим ногам золотые шпоры. Я видал их у некоторых воинов, но не знал, что именно они служат признаком рыцарского достоинства. Ни египтяне, ни арабы не употребляли шпор, и потому еще вчера пришлось мне думать, как удобнее пользоваться ими при управлении конем.

Теперь я мог позволить своему оруженосцу кончить его работу.

Мы вышли из палатки и прошли за первые ряды коновязей. Здесь в сборе были уже все крестonosцы. Они стояли полукругом, а на небольшом столике, в центре этого полукруга, возвышался крест и перед возвышением стоял рыцарь Вальк с какой-то книгой в руках.

Когда я подошел, он кончил читать, и, в то же время, раздалось громкое, согласное пение всех крестоносцев, опустившихся на колени.

Я понял, что присутствую теперь при утренней молитве христиан, и также преклонил колени вместе с ними.

Что могло воспрепятствовать мне в этом?

Я поклонялся Единому Богу, — Тому же, которому поклонялись и они. Какое было мне дело до обряда и до разницы во взглядах?

Молитва, которую пели на незнакомом тогда мне латинском языке, кончилась.

Рыцари Вальк, Тельрамунд и Гастон подошли ко мне, между тем как остальные остались на своих местах.

— Благородный кавалер! — воскликнул Вальк. — Прости, что долгое твое отсутствие заставило верить слухам. Ты доказал нам, что ты все тот же неустрашимый герой, которого мы привыкли считать своим вождем. Мы преступили бы данный нами обет, если б стали спрашивать у тебя отчета в твоих действиях. Возьми же снова знак твоего достоинства и, простив нас, вели вперед, и да поможет нам Бог достигнуть царства священного Солима. Согласны ли вы, братья? — обернулся рыцарь к крестоносцам.

— Да здравствует брат Лакруа, гроссмейстер братьев св. Креста! — дружно ответили воины, доставая кресты, висевшие на тонких цепочках и поднимая их над головой, между тем как рыцарь Вальк почтительно приблизился ко мне и возложил на меня на золотой цепи сверкавший драгоценными камнями крест.

Прибавилось еще одно роковое недоумение, еще раз приходилось мне стать в ложное положение. Я, еще за день перед тем бывший защитником луны, теперь принадлежал к числу каких-то братьев св. Креста, становился их начальником и, конечно, должен был вести их на защиту Креста против луны!..

Решение созрело во мне быстро. Я обратился к рыцарю Вальку и громко сказал:

— Благородный рыцарь, я — не тот, за кого вы меня принимаете! Я не кавалер Лакруа!..

Рыцари и крестоносцы придвинулись ко мне плотной стеной. По рядам их прошел глухой ропот. Меня разглядывали со всех сторон, между тем как Вальк, Тельрамунд и другие предводители совещались в стороне.

Я хотел было снять крест, но один из воинов, суровый и седой, остановил меня.

— погоди, рыцарь! — воскликнул он. — Всякий, кто показывает пример неустрашимости и доблести, может сделаться начальником братьев св. Креста!..

Рыцари кончили свое совещание. Затих гул и в рядах воинов.

— Доблестный рыцарь! — обратился ко мне Вальк. — Ты выказал нечеловеческую мудрость и неустрашимость!.. Только ты можешь с успехом довести нас до цели нашего предприятия!.. Согласен ли ты вступить в наше братство и стать нашим начальником?

— Чему служите вы и что защищаете? — спросил я.

При этом вопросе обнажились головы всех присутствующих. Снял и я свой украшенный перьями берет.

— Мы поклялись, — торжественным тоном заговорил Вальк, — мечом защищать святую веру христианскую и способствовать ее распространению до края вселенной! Меч наш поднимается на защиту Креста — святого символа нашей веры! Послушание и благочестие — вот что требуем мы от вступающих в наше братство. Согласен ли ты принять обеты и поклясться с мечом в руке, не щадя жизни, защищать св. Крест?..

— Куда идете вы теперь? — спросил я вместо ответа.

— Мы идем искать царство священного Солима и поклониться царю и первосвященнику Мельхиседеку!

— Мельхиседеку? — воскликнул я. — Но давно уже кончилось его царство!

— Так говорят, рыцарь, но об этом нигде не сказано, и этому не все верят. Может быть, существует и теперь это благодатное царство!..

Я задумался. Принять или отказаться? Я мало еще был знаком с учением христиан, но и в том, что я знал, мне чувствовалось уже отражение вечной истины...

Я взглянул на дышавшие верой и мужеством лица окружавших меня воинов, и, внезапно решившись, поднял руку вместе с висевшим на моей груди крестом и воскликнул:

— Я принимаю, рыцарь!

— Мы принимаем тебя, брат! — отвечали рыцари и воины.

— Приготовься же вступить в наше число, — сказал, подходя ко мне, Вальк, — пусть останется при тебе имя Лакруа*, знаменующее твоё служение!..

Меня отвели в палатку, где остались только мы с рыцарем Вальком. Без пищи и питья провели мы весь день, и рыцарь неустанно говорил мне об обязанностях, принимаемых мною на себя, и о предстоящем мне служении.

Лишь только стемнело, как я должен был, по принятому обычаю, стать на страже и пробыть так до утра.

Вне лагеря выдвинут был высокий крест, под которым сложено было все мое вооружение. Сюда привели меня братья и оставили одного, с мечом в руке.

Медленно тянулось для меня время. Я находил ненужным все эти обряды и равнодушно взирал на изображение креста — символ моего нового служения.

В тишине и безмолвии тяжелая грусть овладевала мною все с большей и большей силою.

О, каким одиноким казался я себе!.. Все люди, которых только я видел, верили и жили своей верой, сплотивавшей их воедино. Но у меня не было веры, и я не мог слиться с ними!..

Между мною и всеми остальными людьми воздвигалось невидимое, но непроходимое средостение, отчуждавшее меня от всего мира!.. От всего, что может быть дорогого у человека, даже лишившее меня любви той, которую я мечтал своей и мне предназначенной!

И она бежала от меня!..

Я взглянул наверх, на мириады звезд, сверкавших золотистыми точками... Я пал на колени и отдался столь род-

* Лакруа (La croix) значит крест.

ной для меня молитве... И чем больше охватывало меня молитвенное настроение, тем заметнее успокаивалась моя душа, чувствуя присутствие Бога!..

При первых лучах рассвета собрались братья.

Еще раз спросил меня рыцарь Вальк:

— Принимаешь ли ты служение Креста?..

— Принимаю! — отвечал я твердым голосом.

— Даешь ли ты обеты благочестия и послушания?

— Даю!

Рыцари Вальк, Тельрамунд и Гастон помогли мне поднять полное вооружение. Первый раз в жизни прикоснулся я губами к св. Кресту — и с этой минуты вступил в братство.

Один за другим подходили ко мне рыцари и воины и, поздравляя, целовали меня.

Душа моя прояснела, — я сознавал теперь, что я близок этим людям, что я не одинок!..

Кончился этот обряд, и крестоносцы выстроились в ряды.

— Братья! — обратился к ним Вальк. — Согласны ли вы иметь своим вождем благородного кавалера Лакруа?

— Согласны! — раздался единодушный ответ.

— Рыцарь! Согласен ли ты стать начальником братьев св. Креста? — обратился Вальк ко мне.

— Согласен!

Рыцарь Вальк, а за ним и все другие опустили на колени, подняли руки кверху и произнесли вслух клятву в послушании мне.

Снова возложили на меня драгоценный крест — и я стал гроссмейстером рыцарского ордена братьев св. Креста!.. Вот и теперь передо мной, умирающим, висит этот крест — символ моего служения!..

Но иные чувства наполняют теперь мою душу при виде этого орудия искупления рода человеческого! В величии славы и в сиянии кротости и любви восстает передо мной образ Бога моего Христа Спасителя!..

XIX

Царство священного Солима! Где оно находилось и куда должен был я вести мою дружину?

На востоке, в пределах Персии и ее провинций, мне были известны все места, и я с уверенностью сказал своим рыцарям, что там нельзя было найти того, чего они хотели.

Но в горах Ливана, как сообщали мне мои федаи, замкнуто жили какие-то люди, составлявшие тесную общину. Проникнуть к ним было почти невозможно через густые леса и непроходимые горы. Но я наверное знал, что они не исповедовали ислама и поклонялись кресту.

Я сообщил об этом рыцарям. После долгих рассуждений решено было повернуть обратно и направиться именно этим путем.

Ливан представляет собой самую высокую часть сирийских меловых гор. Он тянется по самому берегу моря, со стороны которого доступ к нему невозможен.

Но и с западной стороны путь лежит чрез труднопроходимые сирийские горы, населенные воинственными, враждебными племенами.

Чем дальше двигались мы, тем труднее и труднее становился поход. Наши выючные животные изнемогали и, часто случалось, срывались вниз с крутых обрывов.

Идти, с самого вступления в горы, приходилось в полном вооружении, так как нам необходимо было постоянно отражать непрерывные нападения диких племен.

Воины и даже сильнейшие из рыцарей изнемогали, но ни усталость, ни недостаток съестных припасов, ни жара и ночной холод,— ничто не могло утишить в них рвения. Они были уверены, что там, за голыми склонами сирийских гор, лежит обетованное царство... И странно, я сам начинал верить в существование этого царства: я все более и более проникался духом учения христиан, но оно передавалось мне устами грубых воинов, суеверных, как дети. Верова-

ния христианские в них смешивались с легендами, и их мистицизм невольно отразился и на мне.

И мне теперь представлялось, что там, далеко впереди, лежит священное, таинственное царство... Тем более склонялся я к этому, что случайно доходившие до нас сведения подтверждали, что в Ливанских горах действительно существуют какие-то таинственные, но, видимо, христианские секты.

Прошло около двух месяцев, когда мы, наконец, начали свое восхождение по склонам Ливана. Этот путь был еще труднее и опаснее предыдущего. Нам приходилось совершать его почти все время пешком, при полном недостатке воды, ведя в поводу наших лошадей.

Через каждый час мы вынуждены бывали останавливаться для отдыха, мало укреплявшего наши силы. Но я — я один переносил свободно все труды и лишения, и организм мой нисколько не ослабевал от них. Смотря на меня, даже самые слабые приобретали мужество, и с каждым шагом вперед я все более и более заслуживал восторженное удивление своей дружины.

Шел уже четвертый день нашего путешествия по горам Ливана. Двое суток ни мы, ни наши кони не имели во рту ни капли воды. За несколько часов до солнечного заката мы вынуждены были остановиться на обложенном меловом склоне горы, без малейшей тени, под жгучими пронизывающими лучами солнца. Многие из людей лежали без движения, другие впадали уже в бред и жадно бросались вперед, где чудились им водные потоки. Дальше перед нами возвышалась вершина могучего Дар-Эль-Кодиба — высочайшей из Ливанских гор. Мы видели синеющие кущи гигантских кедров, которыми заросли его склоны. Там, под их сенью, можно было отдохнуть и найти воду, от которой зависела самая жизнь моей дружины.

Но никто из воинов и рыцарей не в состоянии был сделать ни шага вперед. Всем приходилось умирать на этой оголенной бесплодной меловой твердыне...

Я подошел к рыцарю Вальку, сбросившему свои доспехи и тщетно старавшемуся укрыться в тени своей лошади.

— Рыцарь Вальк! — окликнул я его

Он с трудом приподнялся на локти и устремил на меня мутный взгляд.

— Рыцарь Вальк! — повторил я. — Если еще в течение нескольких часов мы не добудем воды, нас ожидает гибель.

— Что же делать, кавалер? — едва мог выговорить Вальк своими пересохшими, потрескавшимися губами.

— Там, — я указал рукой на темные лесные склоны, — там мы можем укрыться от зноя и найти воду!

— Но кто же в состоянии дойти туда, кавалер?

— Я пойду и доставлю воду. Не будешь ли ты в состоянии сопутствовать мне?

Вальк тотчас поднялся на ноги.

Я расседлал трех лошадей и нагрузил их кожаными мешками для воды.

При виде наших приготовлений, слабая надежда на спасение зародилась в сердцах моих спутников. Некоторые из рыцарей через силу помогали нам.

— Начальник, — остановил меня Тельрамунд, — неужели ты не снимешь брони?

— Нет! Может быть, мне придется защищать всех!

Я указал на лежавших в бессилии воинов.

Мы начали наш спуск, понукая лошадей и ведя их под уздцы.

Через час мы спустились и стояли уже у подножия Дар-Эль-Кодиба; но тут рыцарь Вальк, до сих пор не испустивший ни одного стога, упал и не мог уже подняться вновь.

Я увидел по его лицу, что он уже впадает в предсмертное забытие.

Оставить его и идти дальше!

Конечно, мне не оставалось ничего больше...

Но тут я вспомнил, что со мной было средство, которое могло вернуть ему жизнь: в сосуде Ненху-Ра оставалась еще одна треть содержимого...

Пожертвовать его?

Я колебался. Мне не хотелось расставаться с этой драгоценностью.

Но тут я взглянул на крест, висевший на моей груди, вспомнил обеты, произнесенные мною, — и решительным движением достал сосуд.

Разжав зубы рыцаря, я заставил его проглотить эликсир.

Прошла минута — и рыцарь поднялся.

— Спасибо, брат, — сказал он, — твое лекарство возвратило мне силы, — я могу идти дальше.

Если б он знал, какой дар получил он вместе с глотком этого чудного лекарства!

Я тщательно спрятал сосуд, на стенках которого оставалось еще несколько капель, и мы бодро двинулись вперед.

Уже наступала ночь, а под сенью, прохладною сенью кедров, было совсем темно. Не было видно ни дороги, ни тропинки; но мы не могли ждать рассвета и шли наугад.

Неожиданно передняя из лошадей, которую вел Вальк, остановилась и потом вдруг рванулась в сторону.

— Пусти ее, — крикнул я рыцарю, пытавшемуся удерживать ее. — Она ищет воду!

И другие кони также встрепенулись. Спотыкаясь о переплетавшиеся корни, не видя ничего, мы быстро шли за нашими лошадьми.

Наклон показывал, что мы уже не восходим, а спускаемся вниз по какому-то обрыву.

Наконец, снизу до нас донеслось ясное журчанье воды, мы вздохнули с облегчением, и скоро кони наши, припав на колени, с жадностью пили холодную воду.

Только с большими усилиями удалось нам оттащить их и привязать на берегу ручья.

— Странно, — заметил Вальк, — еще недавно я сходил с ума при одной мысли об воде. Теперь же я хотя и пью ее с удовольствием, но, видимо, твое чудное лекарство уже утишило раньше мучения жажды!

— Да, оно имеет такое свойство в действительности! — отвечал я.

Мы наполнили водой наши меха и навьючили их на лошадей.

Нам нельзя было терять ни минуты. Но мы потеряли направление и не могли выбраться из леса. Уже более двух часов бродили мы среди гигантских кедров, то поднимаясь, то спускаясь, когда, наконец, под нашими ногами неожиданно оказалась узкая дорога, обрамленная с обеих сторон рядами деревьев.

— Эта дорога должна же привести куда-нибудь! — заметил я.

— Только бы мы не отдалялись от наших! — с тревогой сказал Вальк.

— Да, рыцарь, но лучше идти по дороге, чем блуждать по лесу!..

Дорога спускалась вниз, но краям ее поднимались поросшие кедрами горы, образовавшие ущелье.

Ущелье все суживалось, и, наконец, мы могли идти только друг за другом, охраняя внимательно меха с водой.

Но вот неожиданно за поворотом ущелье расширилось, и перед нами предстала довольно обширная поляна, ярко освещенная заревом нескольких горевших костров.

Мы остановились в изумлении.

Вокруг костров виднелись фигуры людей в длинных одеяниях, и до нас ясно долетало заунывное пение.

— Неужели мы попали к врагам? — тихо сказал Вальк.

— Во всяком случае, это не мусульмане! — отвечал я.

Рыцарь Вальк прислушался и радостно воскликнул:

— Они поют по-латыни! Идем вперед!..

Я не успел остановить его. Раздался топот наших коней, и через минуту мы стояли уже в кругу суровых, мрачных людей, безмолвно окруживших нас и смотревших на нас с нескрываемым недружелюбием.

Высокий, седой старик сурово спросил нас по-персидски:

— Кто вы? И что вам надо?

Я не хотел скрывать ничего, и на том же, хорошо известном мне, языке отвечал:

— Путь наш лежит через горы. Товарищи наши расположились у подножия Дар-Эль-Кодиба. Они изнемогают от жажды. Мы везли им воду, но сбились с дороги.

— Чего же вы хотите от нас?

— Проводника.

Старик сделал знак. Ряды окружавших нас расступились, и в ту же минуту рыцарь Вальк вскрикнул от ужаса: у костра возвышалось, под громадным деревом, гигантское изваяние, изображавшее человека с рогами на голове.

— Поклонники дьявола! — прошептал Вальк. — Мы попали к поклонникам дьявола!..

Как ни тих был голос рыцаря, но старик услышал его.

— Да, — заговорил он по-франкски, — вы называете его дьяволом, но мы считаем его несправедливо обиженным. Хотите ли вы поклониться ему?

— Никогда! — вскричал Вальк, отступая назад.

— Тогда да будет вражда между вами и нами!.. Но отверженный повелевает проводить вас к вашим; да погибнете вы все вместе!

Он сделал знак — и двое суровых, высоких юношей, с горевшими факелами в руках, приблизились к нам.

— Идите за ними! — приказал старик, — и утром ждите нас!

Мы снова вступили в ущелье. Наши провожатые молча шли впереди нас.

Я заметил, что неустрашимый рыцарь Вальк дрожал от ужаса. Я же теперь весь поглощен был любопытством, кто были эти люди, поклонявшиеся злему духу. Но я тщетно заговаривал со своими провожатыми, не отвечавшими мне ни слова. Кроме того, всякий раз меня останавливал рыцарь Вальк.

— Что делаешь ты? — шептал он. — Разве может благочестивый рыцарь вступать в разговор с поклонниками дьявола?..

Вершины гор уже озарились лучами рассвета, когда мы вышли из лесу. Перед нами, на матовом склоне, виднелись островерхие палатки разбитого без нас лагеря.

Здесь наши провожатые исчезли.

Мы спешили вперед, думая о смертельном томлении, с которым ожидали нас наши товарищи.

И вот, наконец, мы были среди них. Но немногие приподнялись навстречу нам!..

Но вот живительный напиток через час уже влил во всех новые силы: и люди и кони были бодрь, все были готовы снова идти вперед.

— Начальник, — обратился ко мне рыцарь Вальк, — нечестивые должны быть истреблены!..

— Они сами обещали напасть на нас! — отвечал я.

Приказав вооружаться, я, в сопровождении рыцаря Гастона, съехал с горы, чтоб выбрать удобное место для битвы в случае нападения, между тем как Вальк с трепетом сообщал воинам о нашей встрече.

Мы подъехали к самому подножию лесистой горы, когда вдруг Гастон дал шпоры своему коню и бросился вперед.

Я не успел понять, в чем дело, как из-под кущи деревьев навстречу ему кинулась фигура, в которой я сразу узнал Агнессу!..

Волосы ее были распущены, она одета была так, как не одевались виденные мною женщины, платье ее было изорвано... Но это была она!..

Какая ненависть вдруг вспыхнула во мне при виде нее!..

Я подъехал к ней, схватил ее руки и, затянув их ремнем, зацепил его к своему седлу.

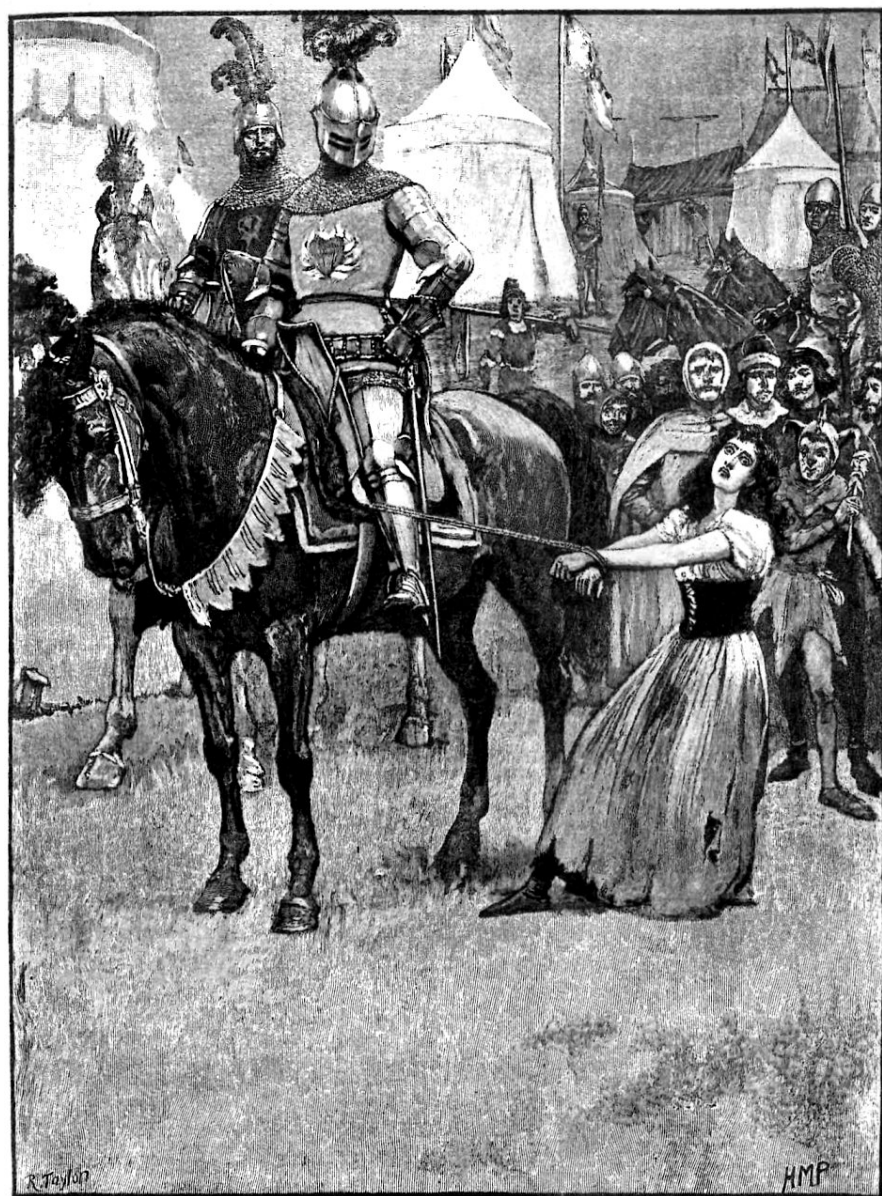
Мое забрало было спущено, и она не узнавала меня. Но я видел, что она от ужаса и изумления почти лишилась чувств.

— Начальник, — решился заметить Гастон, — может быть, эта женщина христианка!

— Она поклонница дьявола! — воскликнул я и тронул коня.

И Агнесса — моя бедная Агнесса — поволоклась за мной!.. Я видел ее страдания и наслаждался ими!.. Ее ноги скользили, она падала, поднималась, рыдала, но волнение не позволяло ей произнести ни слова.

Мы въехали в лагерь, и около палаток нас окружила толпа, с любопытством смотревшая на эту влекомую мною девушку.



— Рыцарь! ведь ты дал мне клятву!..

Я наклонился с седла и шепнул:

— Ты не убежала от меня, Агнесса!..

Она отшатнулась в ужасе.

— Так ты!.. Это ты!..

— Да, я!.. Настал день, когда ты будешь моей.

Я тронул коня и повлек ее к палатке.

— Аменопис!.. Рыцарь!.. восклицала она, упираясь. —

Ведь ты дал мне клятву!..

Но я не слушал ее и, подъехав к палатке, слез с коня и вовлек ее внутрь. Здесь я поднял свое забрало.

— Аменопис! — вскричала она, дрожа от ужаса.

— Нет, не Аменопис, но рыцарь Лакруа стоит перед тобой! Рыцарь и начальник ордена братьев св. Креста!

Я вынул драгоценный крест и показал ей.

Испуг, радость, недоверие сразу отразились на ее лице...

Внезапно она пала на колени и, простирая ко мне руки, воскликнула:

— О радость!.. О счастье!.. Ты — ты принял крест!..

— Да, я принял его!..

— Возьми же, возьми и меня, господин мой!..

И она припала к моим ногам.

Какой внезапный переворот совершился в моей душе!..

Я поднял рыдавшую девушку и прижал ее к своей груди.

— Прости, Агнесса! — прошептал я.

— Тебя — тебя простить?.. О, благородный рыцарь!..

Она не могла говорить в волнении ..

И в эту секунду раздались громкие звуки фанфары, подававшие знак о приближении неприятеля.

— Будь мужественна, Агнесса! — сказал я, отстраняя ее, — предстоит битва, и долг мой призывает меня!..

— Иди, иди, мой рыцарь! — воскликнула она, — и да хранить тебя крест!..

Если бы она знала мое святотатство!..

Но тогда сам я не понимал и не сознавал его.

Воины и рыцари были уже на конях; снизу, выходя из леса, придвигались стройные ряды врагов, и впереди них двигалось, несомое на носилках, гигантское изображение их властелина.

Крик негодования потряс воздух. Без команды двинулись вперед ряды воинов.

Как ураган, налетели мы на врагов и смяли их первые ряды...

Но тут из леса, со всех сторон, хлынули новые толпы свирепых, вооруженных секирами и палицами, высоких ростом богатырей-воинов...

Тщетно носился я взад и вперед, врубаясь в ряды врагов — тщетно разил...

Падали воины и рыцари, и лишь несколько человек теснились около меня.

— Туда, в лагерь! — крикнул я, вспоминая об Агнессе.

Мы обернули коней, но было уже поздно: оттуда, с горы шел неприятель, и впереди его рядов я увидал Агнессу...

О, с какой силой прорывал я и повергал на землю ряд за рядом, стремясь к ней!..

Вот я уже достигаю ее... Я не замечаю, что пали благородный Тельрамунд и храбрый Гастон, и что только один рыцарь Вальк сражается рядом со мной...

Я освобожу ее!..

Но вот — о ужас! — я увидел занесенный над нею нож, и громкий голос донесся до меня:

— Остановись, или она погибнет!..

Мой меч опустился — и вдруг со всех сторон обвилились вокруг меня арканы, десятки рук напряглись, и вот я, свергнутый на землю, обезоруженный, лежал на земле рядом с Корнелиусом Вальком. И он, и Агнесса, и я — мы уцелели, чтоб попасть во власть свирепых поклонников дьявола!..

* * *

Здесь, собственно, кончаются записки Лакруа. Дальше от них остались незначительные, лишённые связи отрывки, — все остальное было уничтожено отшельником, в распоряжении которого была рукопись и который раньше был

священником эйсенбургского прихода. Трудно сказать, что заставило его решиться на этот поступок, — боязнь ли, чтобы не послужило к соблазну все таинственное и необычайное, о чем повествовал кавалер Лакруа, или же противоречие его взглядов с учением западной католической Церкви. Для монаха римско-католика и подобная причина была бы достаточна.

Тем не менее, по сохранившимся отрывкам записок Лакруа, по хроникам и мемуарам, можно было восстановить правдивую историю *Братьев св. Креста* и дальнейшую судьбу самого кавалера Лакруа.

Вечный скиталец — искатель истины, наивный египтянин, на веру принимавший учение жрецов и внезапно обратившийся в скептика, все отрицающего, кроме возможности найти истину, — кавалер Лакруа, под влиянием наглядной реакции, вдруг превращается в фанатика. Фанатизм и нетерпимость, подавление воли человека и полное подчинение его авторитету, — эти отличительные черты римского католицизма с особенной силой выразились в страстном, сильном человеке. Расцвет гуманизма отразился в нем реакцией, — и результатом ее явилось преобразование ордена Братьев св. Креста. Меч и огонь уступили место любви. Св. Крест, бывший грозой для неверующих, теперь воздвигался как символ любви для всего человечества.

Кавалер Лакруа имел право сказать, что он шаг за шагом и век за веком переживал все заблуждения, пережитые человечеством.

Но его исключительная натура заставляла его и заблуждаться и страдать сильнее других. Он везде был первым, стоял впереди всякого движения, охватывавшего человечество, — вот почему его следы не потерялись и могли быть отысканы.

Избиение отряда рыцарей, шедших на поиски царства священного Солима, было лишь актом возмездия со стороны поклонников дьявола за обиду того, кому они служили.

Кавалер Лакруа, Корнелиус Вальк и Агнесса — были обречены в жертву тому же мрачному божеству.

В записках кавалера Лакруа не содержалось указаний на то, как им удалось вырваться из когтей поклонников дьявола, но зато по немногим уцелевшим отрывкам можно убедиться, какое сильное впечатление произвело на него знакомство с этими людьми.

Для него, искавшего истину, являлся еще один новый, разительный пример того, как человеческий ум, создавая сам для себя идеал истины, впадает в неисходные противоречия. Путем долгой, мучительной внутренней борьбы для кавалера Лакруа теперь все яснее и яснее стало казаться, что не в человеке заключается истина, и что она должна придти как откровение свыше.

Освобожденный из плена, он поднял знамя св. Креста уже убежденным последователем христианства. Это доказала его дальнейшая деятельность.

Его освобождение совпало с одним из величайших событий для всего христианского мира: священный Иерусалим, где совершился подвиг искупления человечества, снова попал в руки неверных.

Весть об этом событии произвела потрясающее впечатление во всей Европе. Утихнувшее было на время религиозное возбуждение вспыхнуло с новой силой. Раздалась проповедь третьего крестового похода, и снова устремились в Палестину стройные отряды рыцарей и беспорядочные толпы крестоносцев, сильные лишь своей верой. Но на этот раз, в большинстве случаев, защитниками св. Креста выступали феодальные владетели, приводившие с собой обученное, дисциплинированное войско, к которому лишь изредка примыкали толпы поселян и случайных пришлецов.

Наконец, приняли крест и могущественные властители Франции и Англии — Филипп и Ричард.

После долголетней геройской защиты пала твердыня Птолемаиды. Филипп Французский покинул Святую Зем-

лю, оставив короля Ричарда с сотысячной армией крестоносцев.

Стены Птолемаиды были полуразрушены во время продолжительной осады. Ричард исправил их, чтобы иметь в тылу у себя надежный оплот, так как целью его был поход к Иерусалиму и завоевание священного города.

По восстановлении укрепления Птолемаиды, армия крестоносцев переправилась через Белус и направилась к Кесарии.

Держась близ морского берега, параллельно ей, двигался многочисленный флот, нагруженный военными снарядами и провиантом.

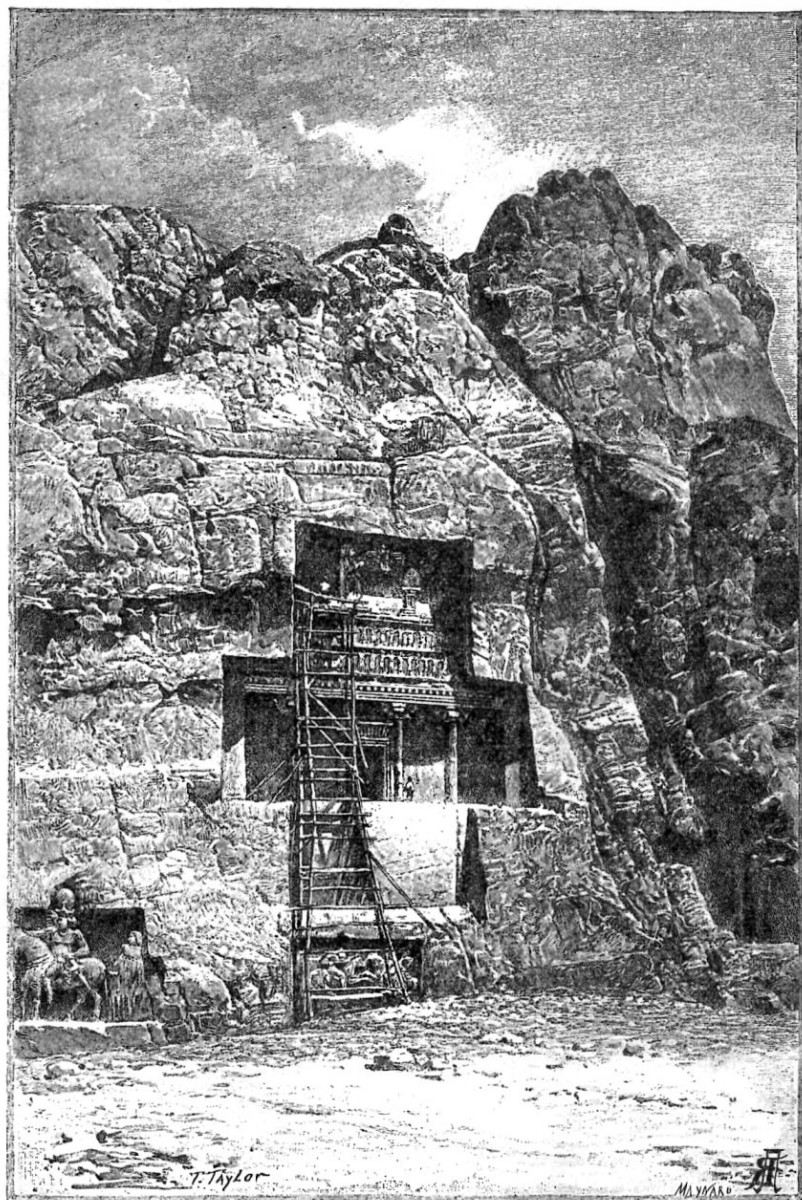
Непобедимый доселе Саладин, разъяренный понесенными поражениями, собрал многочисленные полчища и ринулся вслед за христианской армией. Во время тяжелого пути он пользовался всяким случаем, чтобы тревожить ее постоянными нападениями и не давать отдыха измученным воинам. Достаточно было какому-нибудь отряду отстать от главных сил, чтобы он тотчас попал в руки мусульман. Пленные обезглавливались, и путь христианской армии усеян был трупам.

Наконец, Ричард вынужден был остановиться. Он вступил в переговоры с мусульманами, обещая прекратить беспощадную войну, если Иерусалим будет возвращен христианам.

В ответ ему Саладин сказал, что Иерусалим сдастся только тогда, когда падет последний из его воинов. Жребий был брошен. Ричард поклялся, что он до последней возможности пойдет дальше.

Христианская армия направилась к городу Арсуру, под стенами которого должна была произойти знаменитая в истории крестовых походов битва.

Крестоносцы шли по узкой, длинной равнине, примыкавшей к морю и во многих местах перерезанной ручьями и болотами. С левой стороны равнина замыкалась грядой Наплусских гор. Здесь расположилась многочисленная ар-



*Старинный памятник близ города Арсура, знаменитого по
сражению крестоносцев с сарацинами.*

мия Саладина. Лишь только крестоносцы вступили в теснину, как мусульманские полчища ринулись вниз и — завязалась битва.

Ни мужество Ричарда, ни опытность знаменитого Иакова Авенского не могли бы дать победы крестоносцам. Но в самый разгар сражения на поле битвы прибыл новый отряд рыцарей. На их шлемах и ногах сияло изображение креста. Подобно урагану, ударили они на врага и смяли его. Победа христиан была полная. Войска Саладина бежали в беспорядке. Во время бегства предводитель отряда рыцарей был сражен ударом палицы. Его молодой оруженосец поразил воина, намеревавшегося нанести новый удар, и спас своего господина.

Король Ричард и все военачальники воздали хвалу победоносному воину. Имя его было — Лакруа.

Не эту ли битву видел Аменопис за много столетий тому назад?

Не здесь ли пред ним, сраженным вражеским ударом, предстал в дивном видении образ Ревекки, в то время как наклонилась над ним закованная в доспехи Ревекка?..

Только уничтоженные записки кавалера Лакруа могли бы ответить на этот вопрос...

Кавалер Лакруа и братья св. Креста недолго сопровождали армию крестоносцев: в одной из битв, в то время как кавалер Лакруа мчался впереди своего отряда, предстало дивное знамение, о котором рассказывал в начале своих записок кавалер Лакруа.

После этого «братья св. Креста» удалились из святой земли, и их меч не страшил уже мусульман.

Что побудило к этому кавалера Лакруа?

Убедился ли он в том, что не может быть врагов у Христа?.. Что не может подниматься меч и проливаться кровь во имя Того, Кто проливал Свою кровь ради спасения человечества?..

Эту мысль он высказывал сам, и дальнейшая деятельность его подтверждает это: «братья св. Креста» из рыцарского военного ордена обратились в *братство любви*. Во времена жесточайших гонений инквизиции и религиозных

войн им первым принадлежала проповедь любви, они же шли всегда на помощь страждущим.

С XVIII столетия является новое направление в деятельности братьев: они примыкают к масонскому движению и образуют собой одну из многочисленных лож.

Ужасы Французской революции и эпоха наполеоновских войн выгоняют их из пределов Франции. Тогда являются таинственные обитатели Эйсенбургского замка. Пятьдесят лет проводит в его стенах и умирает гроссмейстер братьев св. Креста...

Удалился ли он сюда, предчувствуя наступление своей старости и близкую кончину?.. Ибо что значит пятьдесят лет жизни для жившего тысячелетия?..

Была ли при кавалере Лакруа та самая Агнесса, которая была при нем в те отдаленные времена, когда он звался еще Аменописом? Не тот ли самый рыцарь Вальк явился принять его последний вздох, который пировал в замке Аламута?..

Только сами эти лица могли бы ответить на подобные вопросы. Но их нет, и только страницы, писанные рукой Лакруа, являются единственным свидетелем, свидетельствующим об истине. Но и тут возникает невольный вопрос: не был ли затворник Эйсенбургского замка жертвой расстроенного воображения, не потому ли и жил он затворником, что его не хотели давать на посмеяние, не фантазия ли создала образ Аменописа-Лакруа и продиктовала переданные нами записки?..

Если бы и так, то записки эти все-таки стоило прочесть, ибо Аменопис-Лакруа ярко выразил в них жажду истины и совершенства, присущую человечеству.

Об авторе

Николай Николаевич Шелонский (? – ?) – литератор, журналист конца XIX – начала XX века. Был учителем в Москве, публиковался под псевдонимами Горемыкин, Змей, Зубовский, Леон не Аэр, Н. Ш. Печатался в газетах «Русский мир», «Московские ведомости», «Приазовский край» и др.

В конце 1880-х – начале 1890-х гг. Шелонский был платным осведомителем охранного отделения. Судя по архивным материалам, благодаря всевозможным вымыслам, провокациям и истерическим выходкам быстро утратил доверие и революционеров, и охранки.

В 1890-х гг. выступил с несколькими романами – «За крест и родину: Роман из эпохи борьбы за освобождение Греции» (1893), «Севастополь в осаде» (1898); в конце 1890-х гг. писал брошюры о Сибири, Амурском крае, Урале и Николае I для «Народно-школьной библиотеки А. Я. Панафидина»; в 1903 г. опубликовал сказку «Повесть о Доулете счастливом и морской царевне».

Помимо «Братьев Святого Креста», в историю русской фантастики вошел роман Шелонского «В мире будущего» (1892) – «охранительная» славянофильская утопия с некоторыми научно-техническими прозрениями.

Роман «Братья Святого Креста» печатается по изданию: М., тип. И. Д. Сытина и К°, 1893 в сопровождении оригинальных иллюстраций. В тексте исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации. Все примечания принадлежат автору.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.